



БОРИС ВАХТИН
ДВЕ ПОВЕСТИ



БОРИС ВАХТИН
ДВЕ ПОВЕСТИ

Ardis

Copyright © 1982 by Ardis

Vakhtin, B. B.

Dublenka: dve povesti.

Contents: Dublenka – Odná absolutno schastlivaia derevnia.

I. Vakhtin, B. B. Odná absolutno schastlivaia derevnia.

1981. II. Title.

PG3489.3.A386D8 891.73'44 81-15066

ISBN 0-88233-654-1 AACR2

ISBN 0-88233-655-X (pbk.)

СОДЕРЖАНИЕ

Дубленка 7

Одна абсолютно счастливая деревня 49

ДУБЛЕНКА

Глава 1

„Пойдемте в театр?“

Дело было давно, лет через десять после того, как первый человек высадился на Луне, большинство людей забыло, в каком это случилось именно году, с тех пор многое изменилось — сейчас, к счастью, все изменяется, не изменяясь, и все-таки; пожалуй, кое-что в некотором смысле изменяется.

Например, если встать сейчас в этом городе за колоннами дворца в стиле Карла Ивановича Росси, дворца, над которым победно развевается свежее красное знамя, и присмотреться к людям, идущим во дворец на работу, то заметно, что одеты они разнообразно, чего во времена высадки на Луне еще не наблюдалось. Кто в отечественном пальто, кто в импортном плаще с погончиками, кто в чем-то из кожи, но не времен гражданской войны, а синтетической. И головы переменялись, на одной берет, на другой шляпа, на иных даже кепки с претензией, а некоторые — ничем не прикрыты, кроме волос. Изменение, конечно, налицо, но и нет изменения, потому что сейчас, как и тогда, сразу видно, кто важнее, видно не только среди тех, кто из машины вылез одни, а и среди тех, кто из машины вылез с двумя-тремя себе не совсем, но подобными, и даже среди тех, кто прибыл в автобусах и на троллейбусах или высадился за углом из трамвая. Походка разная, здороваются по-разному, головы на плечах сидят по-разному — нет, это не по естественным причинам природного разнообразия, генетика тут не причем, это от служебного места внутри дворца. Более важный кивнул — и спешит к цели, не торопясь, а менее важный здоровается обстоятельно, идет к цели скромно, не мешкая, но и не обгоняя. Чем важнее, тем внутренне подвижнее, а внешне увереннее, и наоборот.

В этом изменений не было. И быть не могло. И не будет. Не будет!

Вон один идет — в клетчатом пальто, без головного убора! Не было раньше таких пальто и таких головных уборов не было, чтобы без. Вот это изменение! Однако и нет никакого изменения, просто надел человек клетчатое пальто, а на голову ничего не надел. Какие тут изменения? Вот если бы он сейчас догнал того, в серой шляпе, который из машины один выгрузился, хлопнул бы по плечу и сказал:

„Привет Володя! Как спалось?“ — это было бы изменение. Но не был и нет. И не будет!

Или этот идет — среднего роста, сильно за пятьдесят, незаметный, но хорошо сохранившийся, в ботинках из ремонта, в пальто из химчистки, на висках ни одного седого волоса; сказал бы этот можно выразиться, с виду нержавеющей, вон тому, внутренне неподвижному, что прошел и ответно кивнул: “Что это глаза у тебя с утра такие тусклые? Перепил, что ли, вчера? Смотри друг, береги здоровье — стареешь очень!” — вот это была бы перемена! Не будет! И не надейтесь!

В это утро нержавеющей человек и думать о таком, разумеется, не думал, а вошел во дворец, как всегда. В гардеробе он столкнулся нос к носу с новым наивысшим начальством, которое тут же почему-то демократично раздевалось, наверное, подумал нержавеющей, такой будет порядок. Только он все это успел подумать, как наивысшее начальство протянуло ему руку и сказала без выражения:

— Говорят, у вас трудности в семье?

Месяц назад от нержавеющей ушла жена, ушла без объяснений: собрала вещи и уехала в родную деревню на реке Белой. Оставленный муж тоже был родом из деревни, но другой деревни, смоленской. Объясняя свое необычное имя, он сказал, почему-то волнуясь, вчера молодой поэтессе, пришедший к нему на прием:

— На заре голого энтузиазма отец мой, выйдя из бедняков и подняв мысль до понимания грамотного мировоззрения, прочитал слово филармония с большой буквы и погрузился в любовь, приняв за лицо и даже полагая женой наркома просвещения, поскольку нарком по ее поводу беспокоился, и потом отец назвал меня, как есть.

Так это и было на заре. Отец нынешнего инструктора целый день смотрел испытующе на свою жену Анну, а потом спросил:

— Если сын — как назовем?

— Если дочка — Анною, — упрямо ответила жена, поправляя на голове красную косынку.

— Нет, — сказал Иван Онушкин, — если сын, назовем Филармонном.

И повесил на стенку фотографическую киноактрису, державшую в руке наган.

— Ваня, кто это? — спросила жена, беременная инструктором.

— Филармония, — сказал Ваня. — Бесстрашный пролетарий, друг безземельных, жена наркома нашей грамоты, которую испортили белобандиты в Тамбове.

— Убери, — сказала жена. — Не то скину.

— Нельзя, — сказал отец будущего инструктора.

— Как это мне нельзя из моего живота выкинуть? — удивилась жена.

— Я про нее думал, — сказал отец инструктора.

— Думай, но со стены убери, — сказала жена.

Красавицу с наганом отец, посоветовавшись мысленно с наркомом, сложил и спрятал на груди, а сына назвал в ее честь...

— Боже, какие были глупые люди, — радостно сказала вчера поэтесса Лиза.

Филармон Иванович нахмурился. Елизавета Петровна принесла ему вчера рукопись стихотворений в прозе, отвергнутую местным журналом, принесла на арбитраж. Конечно, Филармон Иванович ни за что на свете к такой рукописи не притронулся бы, но ему велело непосредственное начальство, торопившееся в отпуск, а непосредственное начальство уговорил хотя бы прочесть и высказать мнение лечащий врач подруги, срадавшей чем-то таким, по просьбе одноклассника — главного инженера обувной фабрики, а кто уговорил главного инженера, оставалось долгое время неизвестным и выяснилось гораздо позднее, в ходе следствия, точнее, не кто уговорил выяснилось, а кто мог уговорить, кто был знаком с этим злосчастным инженером, с которого все и началось, изменения начались, хотя, в конечном счете, ничего и не изменилось, ох, уж этот пока неизвестный, знакомый инженеру... Вообще-то строго говоря, с рукописи началось — не было бы рукописи, не пришлось бы Филармону Ивановичу ее читать, не попал бы он во всю эту историю... А еще строже говоря, с поэтессы Лизы, рукопись сочинившей.

Филармон Иванович не за рукописи отвечал, а за театры и их репертуар. Вернее, не он отвечал, а его непосредственное начальство, он только помогал отвечать, но и помогать было всегда очень трудно, мешал ему один недостаток, врожденный изъян: Филармону Ивановичу все спектакли, которые он смотрел, всегда нравились до остоления, до восторга, граничащего с обмороком, с гибелью. Ему было все равно, бодро или вяло играют актеры, умна или глупа пьеса, талантливо или бездарно поставил ее режиссер — Филармон Иванович самозабвенно восхищался всем, готовый полноценно жить и умирать вместе с актерами, чувствовать себя и принцем датским, и автостроителем, и Анной Карениной, и Марьей Антоновной, и негритянским подпольщиком, и тремя мушкетерами...

Трудно, даже мучительно трудно было ему скрывать, как он влюблен в каждую реплику актеров, в каждое их движение, и даже в декорации, и даже в музыку, и даже в освещение. Он сидел в первых рядах, не шелохнувшись и очолев, неохотно выходил в антракте, не слушал, что ему говорят гостеприимные режиссеры, директоры, завлиты, ведущие артисты, секретари театральных бюро, критики, родители будущих гениев. Он ходил по фойе или сидел в кабинетах с таким же неподвижным лицом и неподвижным телом, как и

в зале, недоступный для сплетен, влияний, и после первого звонка шел на свое место. После нескольких посещений спектакля он выучивал пьесу наизусть, мысленно подсказывал актерам их реплики, замирая, ждал знакомых слов и выражений, заходилась до сердечной судороги счастья, когда актеры меняли текст, импровизируя. Однако восхищался внутренне, не внешне.

Но слишком часто ходить в театры он не мог — подумали бы, что ему спектакль очень уж понравился или, хуже того, актриса какая-нибудь тут того... И за кулисами он старался не бывать, разве что сопровождал высокого гостя, строго в соответствии с протоколом. Ни лицом, ни жестом, ни глазами Филармон Иванович никогда себя не выдал. Рад бы он и на репетициях посидеть, и с актерами рад бы встречаться, но — нельзя... Когда же после премьеры или приема его спрашивали, понравился ли ему спектакль, он говорил:

— Что это вы так вдруг... Подумать надо, а вы — понравился, не понравился...

И улыбался вдруг, разрушая свою неподвижность, а потом снова становясь недоступным.

Начальству он докладывал, если оно само не смотрело спектакль:

— Как сказать... Сложно... Надо посмотреть и подумать...

Каждый раз начальство тревожилось и говорило, если не смотрело:

— Что это они в простоте слова не скажут, а мы за них решай! Придется поехать и посмотреть! А?

— Надо поглядеть, — кивал Филармон Иванович. — Я бы тоже еще раз посмотрел, подумал...

И клевало, всегда клевало начальство! Знал Филармон Иванович, что на сомнение всегда клонет и поедет проверить! Второй раз сидел он на спектакле, смотрел, наслаждался, а в антракте не обращал внимания на встревоженные лица режиссера, директора, секретаря бюро. После спектакля начальство говорило:

— Вроде бы нормально, а?

— Вроде нормально, — соглашался Филармон Иванович.

— Ну, пусть идет. Разрешим. А?

— Пусть, — кивал головой Филармон Иванович, невидимо ликуя. — Только я еще раз посмотрю, если вы не возражаете. Мало ли чего...

— Посмотри, — одобряло начальство.

— В третий раз смотрел спектакль Филармон Иванович, укрепляя репутацию работника трудолюбивого и строгого. Другие по вечерам к семье, к застолью, к телевизору, а он — в театр. Работать. Смотреть и наслаждаться.

— Ну, как? — спрашивало начальство.

— Пусть идет, — говорил Филармон Иванович.

— А не скучно? А?

— Как может быть скучно, если идейно правильно? — говорил Филармон Иванович и улыбался своей неожиданной улыбкой, и начальство улыбалось, понимало — шутит.

Непосредственное начальство Филармона Ивановича менялось часто — кто уходил вверх, кто в сторону, кто и вовсе выпадал из колоды, покидал номенклатуру... Предыдущее начальство такое отмочило, что и не придумаешь: влюбилось в большеногую и большерукую красавицу, члена сельской делегации одной братской страны, женилось на ней, положив партбилет, когда до этого дошло, и уехало в эту братскую страну, где поселилось в деревне и стало разводить землянику, поскольку там временно коллективизации все еще тогда не было. Видели это бывшее начальство Филармона Ивановича наши там туристы на базаре, начальство бойко торговало на братском языке, к землякам интереса не проявило, бесплатно земляникой не угостило, на вопросы отвечало скупно, даже выпить отказалось. Понять такие события с предыдущим начальством Филармон Иванович никак не мог, а если все-таки силился — начиналось головокружение и даже останавливалось сердце, отчего он поскорее бросал думать о начальстве, базаре и землянике, и сердце снова начинало стучать нормально.

Зато начальство, которое было перед предыдущим, уехало учиться в столицу, по слухам — преуспевало, сумело, говорили, понравиться одному из.

Начальство менялось часто, и потому мог Филармон Иванович с каменным лицом смотреть театральные представления, напоминая вулкан, который еще никогда не извергался и потому неизвестно — это вулкан или только гора, а может, просто выпуклость на ровном месте.

И вот пришлось ему не спектакль смотреть, а рукопись читать, да еще стихи в прозе, да еще под названием "Ихтиандр". Стихи и прозу Филармон Иванович не любил, имя Ихтиандра встречал, вроде бы, в научной фантастике, но зачем оно тут — недоумевал, поэтому на автора смотрел вчера неодобрительно. А она, этот автор, мало того, что названием смущала, так еще не постеснялась, идя, можно сказать, в храм, наполненный светом, надеть брючный костюм ярко-зеленого цвета, пояс из золотой цепи и колье из грецких орехов, отца и мать его назвала, почти прямо, глупыми, а могла бы и понять их чувства, искренние и прямодушные, правда, не публично назвала, а с глазу на глаз, доверительно, но все-таки внутри, где не только осуществляется власть и не только осуществляется преемственно, от зари до зари и дальше, но и скромно вокруг, никаких излишеств, разве что поставили недавно всюду сифоны с самогазирующей водой, зачем это

надо было — стеклянные емкости в металлических сетках-переплетках, с графинами жилось привычнее, без роскоши и шипения, несвоевременная это была реформа, да и вообще зачем это надо — реформы, все они были, есть и будут всегда на веки несвоевременные, об этом им недавно высшее начальство опять напоминало, хотя они и сами это давно прочно знали.

— Где можно попить? — спросила поэтесса Лиза.

— Там, неодобрительно покачал головой Филармон Иванович, подписал ей, беспартийной, пропуск, встал и смотрел неодобрительно на нее сзади, как она шла в угол, наклонялась, шипела громко сифоном и пила, закинув прическу, а брючный костюм трепетал на ней, то прикасаясь и подчеркивая, то свободно и скрывая.

— Я приду завтра, — сказала поэтесса Лиза, беря пропуск.

Знает, думал Филармон Иванович, что непосредственное начальство, уезжая, поручило ему разобраться за день и не тянуть ни в коем случае. Он попробовал вчера отвертеться и начал привычно:

— Подумать бы надо...

— Вот и подумай, — велело начальство, торопясь. — И завтра чтобы все было готово.

— А ваше мнение? — спросил Филармон Иванович.

— Не читал, — сказала начальство, — как решишь, так и будет.

Вопросы есть?

Вопросы у Филармона Ивановича были, но найти он их не мог.

— Что стоишь? — спросило начальство, — они в простоте слова не напишут, а мы за них решай... Действуй!

И начальство сказала жене, уезжая в отпуск, телефон Онушкина, жена позвонила подруге, та лечащему врачу, тот главному инженеру, а тот еще кому-то, оставшемуся в тени, и поэтесса Лиза позвонила Филармону Ивановичу, принесла "Ихтиандра", а Филармон Иванович читал весь вечер, немного поспал и читал все утро, хотя в рукописи было всего тридцать страниц, но сплошь — головоломки.

Об этих головоломках и думал Филармон Иванович, когда высшее начальство ему сказала:

— Говорят, у тебя трудности в семье?

Это был особый, неслыханный знак внимания, и Филармон Иванович ответил, и как полагалось и как от него и ожидалось, бодро и приподнято:

— Преодолеем, Сергей Никодимович, преодолеем!

Тут бы и остановиться, но инструктор, утративший полное самообладание из-за Ихтиандра, вспомнил об отце и неожиданно для себя сказал:

— Вот отца в больницу не берут...

Отец его, овдовев и выйдя на пенсию, жил отдельно, крихтел

от радикулита, класть его в больницу с каждым годом труднее становилось, вот и в этом году вроде бы не отказывали, но мест все не было, а отец к этой больнице привык, пообжился, боли там отпускали, пенсия накапливалась. И об этом подумал Филармон Иванович, читая стихи в прозе, вот и брякнул, минуя инстанции, не по правилам, посреди гардероба о своих бытовых потребностях. Брякнул и затих. Только успел подумать, что пропал, как наивысшее начальство, уже переключившее знак демократического внимания на кого-то другого, расслышало его заявление, снова кивнуло и сказала:

— Должны взять.

Это получался не просто знак, это получалось указание, и не на этот только год, а на все годы, пока наивысшее начальство будет здесь наивысшим, даже если Филармон Иванович уйдет на пенсию, до которой ему пустяк оставался, годика полтора. Теперь между отцом и койкой в больнице были одни формальности, было только тьфу, раз плюнуть.

Вот это да, думал Филармон Иванович, забыв даже об Ихтиандре. Это не то, что бывший хозяин, к которому месяцами не могли пробиться, с делами не могли, не то что с личными просьбами, да и не он не мог — завотделы, а новый за полсекунды решил, без всяких.

Внимание к человеку теперь, наверное, требуется, подумал Филармон Иванович, к каждому. И тут вспомнил он опять о Елизавете Петровне, назначил он ей на десять утра и оставалось до десяти всего две минуты.

Уже вечером, прочитав рукопись первый раз, он понял, что местный журнал отверг ее обоснованно. Плохая вещь, говорил он мысленно Сергею Никодимовичу, идя в свой сектор, темная, двусмысленная, от первого до последнего слова непонятная, а понятные фразы, несомненно, на что-то намекали, хотя на что именно — никак не удавалось установить, поскольку было непонятно целое. Вроде бы речь шла о любви героине к кому-то, живущему вне нашего мира, в глубине не то водного, не то воздушного океана и носящему временно псевдоним Ихтиандр, но, может быть, и не о любви и не к кому-то. Много раз прочитал Филармон Иванович рукопись. И кое-что ему удалось выделить для конкретной доброжелательной беседы. Например, такое:

”Из пенного пива осколком Селены навстречу тебе, и идти, прижимаясь янтарным плечом, по облачным волнам, не глядя вниз, где лишённые любви в сытости псовой растворяются в прахе...”

Доброжелательно Филармон Иванович собирался сказать о Горьковской традиции буревестника в стиле, однако, слишком туманно, индивидуалистично и на что-то намекает.

Или, например, такое:

”Сидение автобуса было разодрано, из треугольной дырки в

спину мне лезли застрявшие там чужие хлопоты, спина чесалась, контролерша разоблачала безбилетного мальчика, крича оскорбления, а тебя рядом не было, чтобы хоть спину почесать.

Здесь Филармон Иванович приготовился сказать, что можно бы о контролерше и не так, много еще безбилетных, убытки транспорту большие, люди пятак берегут, а в других странах, между прочим, на пятак далеко не уедешь. Почему-то неожиданно он представил себе ярко, как Ихтиандр почесывает Лизе спину, а той приятно, она лежит у Ихтиандра на плече, но этого написано не было, Филармон Иванович заметил, что пальцы его шевелятся, и в ужасе мотнул головой.

Или, напримаер, такое:

— В подвал, где принимали пустые бутылки и банки и где висело красное объявление, что инвалиды Великой Отечественной обслуживаются вне очереди, вошли десять человек и потребовали принять их за двенадцать копеек за штуку, потому что они совсем пустые, нет в них давно ни капли алкоголя, а им не хватает рубль двадцать и чем они не посуда из-под вина, а черноглазый приемщик сказал, что откуда он знает, может, они от молока пустые, а он молочные не берет, а они возмутились, а у меня были именно из-под молока, и я спросила, как это не берет, а он посмотрел на меня и сказал, что я совсем другое дело, а они закричали, где же справедливость, а я сказала, что он не на своем месте, а он сказал, что очень даже на своем, куда я хочу, в "Кавказский" или в "Метрополь", а они сказали, если ты, сволочь, не примешь нас в долг по двенадцать копеек, мы сожжем все ящики, которые ты запас на ночную приемку слева, а я сказала, что сегодня не могу, к сожалению" — и так далее, тому подобная бестолковщина с дурным душком, и по ее поводу Филармон Иванович собирался повторить слова, которые, по слухам, произнес недавно наивысший, что в каждой области — свой БАМ и в каждом районе тоже БАМ, туда бы и поехала к героям современности, а не пускалась бы в подвал жизни.

Две минуты истекли, и вот она вошла к нему в кабинет.

Опять этот костюм, за сутки он стал еще зеленее, никакого уважения, надо же! Только вместо грецких орехов болтается на груди, нахально приоткрытый вырезом, блестящий крестик на блестящей цепочке! Глазам своим не поверил Филармон Иванович, однако всматриваться не решился — слишком много груди виднелось под крестиком, слишком белая она была, невозможно всматриваться в такое.

Хмурясь, он сообщил ей свое мнение, подкрепляя примерами, сообщил доброжелательно и закончил просто:

— Нельзя.

И убедительно замолчал, бесповоротно сокрушаясь головой.

Поэтесса Лиза начала было записывать его слова, что ему не понравилось, но почти сразу прекратила, склонила голову на плечо и стала смотреть на него своими большими серыми глазами.

— Нельзя, — повторил после молчания Филармон Иванович.

И спросил, стараясь закончить по-хорошему с этой зеленой птицей попугаем, прибывшей сюда ради доброжелательных объяснений о ее стихах и прозе, не подходящих, к сожалению, для существования, спросил, награждая своей неожиданной улыбкой:

— Значит, договорились?

— О чем? — спросила поэтесса Лиза. И добавила певуче: — Филармон Иванович?

— О перемене вашей поэтической позиции и курса жизненного творчества, — хотел ответить Филармон Иванович, но вместо этого ему сказало совсем другое:

— О замене, в частности, вашего костюма в руководящем месте обыкновенной одеждой советского человека!

— Совместно будем заменять или как? — спросила эта птица. — А насчет белья какие будут указания, Филармон Иванович?

Это можно было только не расслышать, ничего другого тут было нельзя. Филармон Иванович опустил голову, огорченный тем, что эта представительница творческой молодежи так нечестно использует преимущества своей беспартийности.

Посидели молча.

— Боже мой — сказала поэтесса Лиза.

Она неожиданно протянула руку через стол, и погладила его по голове, повторив:

— Боже мой...

И тут в третий раз за это злополучное утро вырвались из инструктора слова без его воли, сами собой, словно не он, а кто-то другой сказал их его ртом, причем сказал хриплым басом, он даже и услышал этот бас как бы со стороны:

— Пойдемте сегодня в театр?

Глава 2

“Кто тут главный?”

Сказал такое среди белого рабочего дня, сказал посетителю, которая лет на тридцать пять моложе, не зная, не замужем ли она, какие у нее связи с начальством, за нее без нажима, но хлопотавшим. Голова закружилась, сердце приостановилось, волосы на голове шевельнулись, и тут она ответила:

— Сегодня, к сожалению, нет, Филармон Иванович. Позвоните мне завтра.

И на листке бумаги написала ему телефон.

Пальцы у нее были на вид очень ломкие.

Когда после рабочего дня инструктор покупал продукты, он чувствовал под ложечкой зеленоватую неприятность и, натываясь на нее, постигал без труда, что причина — несознательная позтесса, повернувшая его чистую жизнь к родимым пятнам прошлого.

— Родимый ты мой, — услышал за спиной инструктор, но не решился оглянуться и посмотреть, кто это, кому и почему сказал.

В магазине насыпали ему в сетку картошку гнилого качества, он вспомнил, что газета писала о недостатках на этом фронте, однако, в именно данном магазине сдвига к лучшему не наблюдалось. Надо бы указание, но это не по его линии, по другой, где каждый год возникают сложности с уборкой, перевозкой, хранением и погодой. В другой магазин он, однако, не пошел.

Зато морковь была ничего. И мясо тоже ничего, так что можно было идти и думать о хорошем. Да и в портфеле лежали кое-какие качественные продукты, купленные еще внутри.

С тяжелой сеткой в одной руке, с толстым портфелем в другой, спешил Филармон Иванович к дому. Осень шла к концу, холодная и дождливая. Вот и сейчас моросил мелкий дождь, освежая его старое пальто и шляпу. Тут он увидел впереди что-то зеленое и скривился, как от боли. Впрочем, именно боль он и ощутил в приостановившемся сердце, но боль не страшную, а какую-то забытую, неясного свойства. Рядом с зеленым плащом-накидкой, застегнутым под подбородком золотой пряжкой, маячил некто в бежевом, с белым воротником. Хмуро, стараясь не замедлять шаг и не обращая внимания ни на нее,

ни на сердце, Филармон Иванович шел вперед, а зеленое издали приветливо помахало ему ручкой, село с бежевым в черную машину и уехало, оборачиваясь и несомненно его обсуждая.

До сорока восьми лет Филармон Иванович прожил холостым и вдруг женился на молоденькой официантке-башкирке из дома отдыха, куда случайно попал в отпуск. Его жена быстро расплнела, лицом стала похожа на басмача, молчаливая вообще, она почти прекратила с ним разговаривать, о чем думала, раскосо глядя на него, — неизвестно.

По вечерам она не мешала ему — любил Филармон Иванович, если не было спектакля, конспектировать книги по марксистско-ленинской эстетике, а их, к его удовольствию, выходило немало. В толстых тетрадях обязательно в обложках разного цвета, чертил он поля, нумеровал страницы, на тетрадь наклеивал белый квадратик с цифрой — номером тетради, число уже перевалило за сотню, аккуратно и крупно писал название книги, обстоятельно ее конспектировал, а в конце тетради оставлял один-два листа под перечисление того, что в тетради законспектировано. Писал он с удовольствием, длинными фразами, стараясь поменьше пользоваться своими словами, ставя кавычки, если ничего не менял, а в скобках отмечая страницы книги, с которых выписал цитаты. Особенно важное он подчеркивал, например, такое: "Если без содержания нет формы, то и без формы нет содержания — бесформенное содержание перестает быть содержанием, однако, бессодержательная форма может некоторое время сохраняться, не являясь, строго говоря, формой, потому что содержание всегда предшествует возникновению или развитию формы" Или такое: "Диалектика художественного развития такова, что на разных этапах советского искусства нравственная проблематика ставилась и выявлялась с разных сторон, однако всегда была неразрывно слита с его идеологической направленностью"... За этим занятием Филармон Иванович засиживался допоздна, ложиться не спешил. К жене он утратил интимный интерес, пользуясь ее телом редко, большей частью по утрам, и никакого отклика с ее стороны не чувствуя.

Детей у них не было и быть не могло. Сразу после загса молчаливая жена в постели вдруг сказала ему, неожиданно горячо и волнуясь:

— Послушай, все послушай, ты муж — знать должен, мне только тринадцать было, первые месяцы, как женское началось, а он штурманом на реке плавал, в отпуск в деревню заехал, Измаил, татарин, напились все, он поил, рукой по спине провел, подвернулась я, околдовал, а мать заметила, тоже пьяная была, он ей самой нравился, отец-то наш помер, зазвала меня в сарай, и так была, так была, так была, бросила, ушла, совсем опоилась. Я лежу, плачу, а он тут, приехал, пожалел, я и не поняла ничего, девочка была, околдовал. Через восемь месяцев мертвого родила, маленького такого. С тех пор ни с кем

не была, ты мне верь, ты меня прости, я тебе хорошая жена буду, я за пожилого и хотела, ты только прости – не пожалеешь...

До помертвения органов испугался Филармон Иванович. Все, что он услышал, было неправильно, дико, являлось исключением. Вот-вот, нашел он слово, именно исключением, не характерно, из ряда вон. Сам он, если и пил, то в редких случаях, когда с ним пило начальство и не пить было бы дерзостью, но и выпив, никогда по спине никого не гладил, руки держал при себе, а язык за зубами. Чтобы мать из ревности избилась дочь – и вообразить не мог, тем более, чтобы пьяный овладел ребенком с согласия последнего. Вот это согласие больше всего и ужаснуло Филармона Ивановича, опустошило его душу, хотя сказал он в ответ после долгого молчания о другом:

– А Измаила что – засудили?

И жена ответила, тоже помолчав:

– Он сказал: "Ребенок будет – женюсь". Уехал сразу, писал письма. Да что он нам... Ты меня прости.

– Нет вопроса, – сказал Филармон Иванович, – поскольку несовершеннолетняя. Но как это – околдовал?

– Прости, – шептала жена, а он лежал омертвелый.

Ребенка, как сказали врачи, у нее быть больше не могло. Десять лет жили, таких разговоров больше не вели. И вдруг она уехала.

Придя с сеткой и портфелем домой, Филармон Иванович первым делом накормил своего кота по имени Персик, оставленного женой. Кот выбежал ему навстречу к двери, терся у ног, мелко тряс выгнутым хвостом, ждал нетерпеливо, пока хозяин нарезал мясо в блюдечко. Глядя, как ест кот, Филармон Иванович почему-то вспомнил рассказ жены, представил черную руку татарина Измаила у нее на тонкой башкирской спине, и неожиданно непонятная сила оторвала его от кормления кота и бросила его к телефону.

Он опомнился только тогда, когда раздалось лениво-певучее "Я слушаю", и тихо положил трубку на рычаг. Испуганный Персик не ел и смотрел на него. Филармон Иванович заметил, что пальто до сих пор не снял, домашние туфли не надел, на полу наследил. "Боже, какое у меня никуда не годное пальто", – подумал он, но мысли его прервал телефонный звонок.

– Филармон Иванович? – услышал он. – Не вы мне только что звонили, а телефон вдруг разъединили?

– Я позвоню вам завтра, – сказал Филармон Иванович. – Как договорились.

– Часа в четыре, – сказала Лиза.

– Хорошо, – сказал Филармон Иванович, бросая трубку на рычаг, но телефон тут же взорвался звонком.

– Двести семьдесят восемь девяносто девяносто? – спросил резкий женский голос. – Клиент, с вашего аппарата только что хулига-

нили — звонили и вешали трубку. Телефон служит для связи, а не для хулиганства. В случае повторения вам его выключим. Ясно?

Филармон Иванович решительно не понимал, каким образом телефонная станция его разоблачила. Забыв поужинать, он стал ходить по комнате, заметно думая. Иногда он мельком поглядывал на приготовленную книгу, тетрадь и шариковые ручки, но за конспект не садился. Часа в три ночи он, наконец, лег и заснул. И тут впервые в жизни увидел какой-то совершенно беспартийный сон.

За деревней его сорокалетнего прошлого на правом берегу реки имелся лес, в который вела дорога — через мост и по насыпи, и было в этом лесу много комаров, ландышей, лужаек с хорошей травой, чтобы пасти коров, и даже пруд. Филармон Иванович совсем не почувствовал, что увидит во сне вдруг именно этот мост, эту дорогу по насыпи и этот насквозь знакомый лес, на каждой ветке которого висел звон коровьих колокольцев, крики соек и запах ландышей. Однако вот надо же — увидел, только совершенно все было во сне в ином свете и положении: лес поредел, остались мелкие и случайные деревья, насыпь расширилась, растекалась земляной рекой, по которой плыли выкорчеванные пни, рытвины, кучи веток. Пахло соляжкой, мост отскочил в сторону, припал к воде, которой было под ним немного, и вся земля, растительность и небо изменились до почти неузнавания. Было неприятно на это смотреть, и Филармон Иванович, морщась от запаха соляжки и перемены чуть ли не климата, распорядился.

— Вернуть, как было.

Но его никто не услышал, потому что он был совсем один, только издали доносилась трескотня бензопилы. Филармон Иванович пошел к пиле и спросил человека, яростно, как забойщик, вцепившегося в ручки:

— Кто тут главный, товарищ?

Человек обернулся, не выключая пилу, мотнул головой в сторону, и снова сосредоточился на пилении.

Филармон Иванович настойчиво пошел по указанному направлению и вышел к бараку, на котором висели плакаты и белесые лозунги.

Из барака кто-то высунулся, спрятался, и барак вдруг развернулся и встал к Филармону Ивановичу задом без окон и дверей.

Он пошел в обход, но никак не мог перебраться через завалы хвороста и какие-то кучи мусора, устал, выбрался совсем в стороне от барака и сел отдохнуть на бревно. Из барака выбежал мужчина в бежевой выворотке с белым воротником, помахал ему рукой с стал развешивать на веревках белье. И тут Филармона Ивановича осенило: вот это чьи штучки! Сердце его забило гневом, он в три решительных шага достиг двери в барак, оказался внутри и сразу полностью

поверил своим глазам, точно ждал именно такого зрелища, вполне естественного в общей взаимосвязи происходящего.

За деревянным столом сидели, ели картошку и улыбались друг другу совершенно голые его жена и поэтесса Лиза, и в углу у печки копошилась скрюченная старушонка в зеленом брючном костюме, подпоясанная золотой цепью.

— Так, — сказал Филармон Иванович. — Вот, значит, как.

Жена на него не смотрела, а поэтесса Лиза сказала мягко и примирительно:

— Все течет, все изменяется, Филармон Иванович.

И он вдруг потеплел от ее миролюбия, успокоился и, глядя ей прямо в серые глаза, спросил:

— Значит, договорились?

Не было вокруг него больше никакого барака, кикаких подробностей он уже не видел, только белое лицо поэтессы Лизы и ее серые мягкие глаза, и медленно проснулся, вынося из сна все приснившееся бережно, все как было, даже запах солярки, но бережнее всего это лицо.

Он проснулся, не понимая, откуда взялся этот сон, но чувство было такое, словно он вернулся с важного заседания, к которому ему пришлось готовить резолюцию, и резолюцию приняли без поправок, и эту резолюцию он куда-то дел, не может найти, а вспомнить никак не удастся.

— Все течет, все изменяется, — мысленно повторил Филармон Иванович, закрыл глаза и снова увидел насыпь с сучковатыми пнями, поредевший лес и изменившуюся реку с чужим мостом, и понял, что все изменилось бесповоротно и назад уже не изменится. Да, колесо истории не повернуть вспять подумал Филармон Иванович, вот оно — это бесповоротное колесо, которое не только огромно включает важнейшие вопросы, но и катится по мелочам, вроде леса его детства и внешнего вида земли, ни разу не повторившегося и не восстановившегося с самого доисторического времени, со времен динозавров и первобытного коммунизма.

Он вздрогнул, увидев ясно лес своего детства рядом с первобытным коммунизмом. У пещеры сидела в шкуре первобытная женщина и била камнем по камню, другая женщина кормила грудью волосатого младенца, а вдали первобытные мужчины колами и валунами добивали в яме свирепого динозавра. Так Филармон Иванович лежал и дремал, как вдруг кто-то сказал в комнате басом:

— Страшная сказка без счастливого конца!

Он очнулся и так же сразу понял, что это сказал именно он сам и сказал не про себя, а громко. Он вскочил, подбежал к зеркалу, пристально всмотрелся. Нет, не череп глядел на него оттуда, не оборотень и не какой-нибудь тщеславный незнакомец, а он сам, привычный

и известный. Он вернулся к постели, сел на нее, положил машинально руку на Персика, несколько раз погладил кота, потом порывисто прижал его к груди и заплакал.

Глава 3

Дон Бизаре Бицепсе.

Он сидел, плакал и думал, что в четыре часа позвонит Елизавете Петровне и откажется идти с ней в театр, сославшись на нездоровье, потому что в свете наступившего ясного дня было очевидно, что невозможно ему идти с ней ни в какой театр, ему, участвующему в идейном руководстве всеми театрами города, к тому же с такой молодой, и вообще, ее, наверное, тоже многие знают, а от него ушла жена. Надо отказаться обязательно, только не на свою болезнь сослаться, а на отцовскую, надо, дескать, того в больницу уложить. Впрочем, она и сама никуда с ним не пойдет! А может, она хочет на него повлиять, через него рукописи в журнал пристраивать? Так ведь такие рукописи, как "Ихтиандр", даже наивысшее начальство не могло бы пристроить, это она должна понимать. А если пойдет, то что надеет? Попадались ему в театрах на женщинах такие наряды – ну, просто от папуасов. Вдруг у нее будет и спина голая, и плечи, и крестик на полуголой груди? Тогда что?

Но шел день, Филармон Иванович устроил отца в больницу, написал справочку наверх о работе с молодыми актерами, перекусил в буфете.

И чем темнее становился день, тем возможнее казалась встреча...

Поэтесса Лиза пришла в театр, обтянутая, как чулком, джинсами и свитером и, конечно, с крестом на груди, который так и прыгнул на Филармона Ивановича, когда с поэтессы Лизы в гардеробе снял пальто сопровождающий ее субъект – тот самый в бежевом, знакомый Филармону Ивановичу и по встрече наяву, и по встрече во сне.

Субъект протянул руку, знакомясь, и представился:

– Эрнст Зосимович Бицепс.

Филармон Иванович молча пожал узкую руку субъекта, стараясь понять, кто это такой, но тут в гардероб выкатился кубарем главный режиссер театра, лицо его было прожектором обаяния, он кинулся к ним. Филармон Иванович чуть было не сделал движение ему навстречу, но вовремя заметил, что прожектор целит не в его лицо,

а в спутника Елизаветы Петровны, весьма, со всех точек зрения невзрачного человека.

— Эрнст Зосимович, — взволнованно и глуховато сказал режиссер, — вечер добрый. Первый состав сегодня, Эрнст Зосимович.

Бицепс чуть улыбнулся тонкими губами и сказал небрежно и негромко, чтобы вслушивались:

— Дела, дорогой, посижу чуть-чуть — и уеду, а к концу спектакля вернусь.

— И ко мне, и ко мне! — еще взволнованнее и еще глуше сказал режиссер. — Здравствуйте, Филармон Иванович, — заметил он, наконец, инструктора и мельком пожал ему руку.

Все, казалось бы, получилось как нельзя лучше — субъект был вовсе не субъектом, а могущественным лицом, неизвестным Филармону Ивановичу, но хорошо известный многим — с ним здоровались почтительно и первыми, а он отвечал приветливо, но отнюдь не панибратски; этот влиятельный, хотя внешне совсем бесцветный товарищ сам вел Елизавету Петровну под руку, беря на себя всю ответственность и за ее обтянутую фигуру, и за крест, он же с ней рядом и сел в директорской ложе, а инструктор с главным режиссером поместились за ними во втором ряду; все, казалось бы, хорошо устроилось, тем более, что товарищ Бицепс удалился вместе с режиссером, едва погас свет; но Филармон Иванович не мог следить за спектаклем, несмотря на первый состав, потому что был страшно расстроен.

Расстройство началось с первой секунды встречи. Его пальто оказалось невозможным рядом с верхней одеждой Эрнста Зосимовича и Елизаветы Петровны. Костюм Филармона Ивановича был еще свежий, выходной — жена называла его почему-то кобедешным, — вполне достойный, как и выходные еще не стоптанные черные ботинки с добротными шнурками, как и рубашка с галстуком, но вот пальто имелось у него одно, недавно из химчистки, вполне еще вроде бы и живое пальто, но, увы, рядом с бежевой вывороткой высокопоставленного Бицепса и длиннополым тулупчиком Елизаветы Петровны, расшитым сверху до низу яркими узорами из цветной тесьмы, его пальто было совершенно постыдным, нищенским, оно громко кричало о бедности своего носителя. Убогое пальто! А он-то думал, что перелицевал, почистил — и все в порядке! Нет, идти в таком пальто по улице рядом с ней нельзя было даже и вообразить, лучше голым идти, не так стыдно!

— Нет, лучше голым! — хриплым басом вдруг сказал Филармон Иванович и, потрясенный тем, что в первые в жизни не усидел безмолвно в театре, вытаращил глаза... Поэтесса Лиза отнесла его выкрик к происходящему на сцене и засмеялась.

В то время, то есть, повторим, лет через десять после того как нога человека впервые ступила на Луну, на Земле прочное место зани-

мала в моде верхняя одежда под названием дубленка, тулупчик, выворотка, полушубок. Как все разнообразие людей произошло — еще недавно в это очень крепко верили — от обезьяны, так и все эти черные, коричневые, шоколадные, бежевые, серые, белые из кожи искусственной и настоящей, с мехом подлинным или поддельным, то расшитые цветами, то украшенные живописными заплатами, то в талию, то дудочкой, то короткие, то до пят, то грубые, то тонкие, то с аппликациями, — так и все эти наряды официально стоившие сравнительно недорого, а продававшиеся на "черном рынке" за сотни рублей, а то так и за тысячу, а то и за полторы — да, да, рассказывали о женщине, уплатившей за дубленку тысячу девятьсот рублей, Филармон Иванович сам слышал этот рассказ в столовой для рядовых — так вот, как людское разнообразие, многим хотелось бы верить, родилось от обезьяны, так и все это многоцветье нарядов произошло от обыкновенного кожуха, от старинного овчинного тулупа, от одежды примитивной, надежной и теплой, доступной прежде любому сторожу или младшему лейтенанту. Но в процессе эволюции и прогресса тулуп достиг таких высот, что Филармон Иванович не мог о нем и мечтать. Денег он бы наскреб, несмотря на то, что помогал и отцу, и сбежавшей жене, рублей сто двадцать выкроить смог бы, но где достанешь эту самую дубленку? Пронеслись было слухи, что своих обеспечат, но не подтвердились. Филармон Иванович так захотел иметь дубленку, что даже уловил ее противный бараний запах, еще в гардеробе ошеломивший его. Он понюхал воздух, пахли волосы поэтессы Лизы, сидевшей перед ним, пахли терпкими духами, и Филармон Иванович почувствовал, что если он сейчас же, сию же минуту не станет владельцем дубленки, то либо умрет, либо сделает такое, что будет вроде как бы и смерть.

Зажегся свет, поэтесса Лиза повернула к нему лицо, точь-в-точь то самое, из сна, белое лицо с серыми глазами, и Филармон Иванович тихо и доверчиво сказал в это большеглазое и мягкое лицо:

— Я хочу дубленку.

Лицо посмотрело на него внимательно целую, по крайней мере вечность, и наконец поэтесса Лиза сказала:

— Хорошо.

В антракте она вела Филармона Ивановича под руку и говорила не умолкая:

— У меня есть друг, старший друг, вообще у меня много друзей, подруг почти нет, а друзей много, есть, конечно, и подруги, но этот друг самый близкий, он почти не пьет, редко рюмку, я не знаю, какая у него профессия, он о ней не говорит, но он столько знает, столько читал, столько выучил языков, что неважно, какая у него профессия, он говорит, что его специальность — понимать, я его вчера видела, он любит, когда я прихожу, поэтому вчера я и не смогла с вами встре-

тяться, он мне рассказывал о коллапсирующих системах, он старался понять почему такие системы все-таки, несмотря ни на что, вопреки всей логике наших представлений, неизбежно переходят с орбиты, более близкой к смерти, на орбиту, менее к ней близкую...

Филармон Иванович хотел было спросить, что это все такое, хотел сказать, что он ничего не понимает, что это отдает чуждым духом, отдает не почему-либо — физика и математика, а может быть, в данном случае, и астрономия в рамках теории имеют право отражать разные орбиты, если верно... — хотел, словом, вовремя отреагировать, мало ли что, да и ей не к чему повторять, но вместо этого неожиданно басом произнес:

— Не орбита важна, а ядро.

— Вот и он сказал вчера, — посмотрела поэтесса Лиза на Филармона Ивановича углом глаза, — что для коллапсирующих систем есть ядро смерти, оно внутри их орбит, а есть ядро жизни, оно обнимает их орбиты. Он сказал, что есть орбиты вне ядра, а есть внутри ядра, и это дает нам надежду. Вы бы хотели с ним встретиться?

— Нет, — сказал Филармон Иванович решительно.

— Ну, и зря, — сказала поэтесса Лиза. — А с Эрнстом Зосимовичем?

— Он кто?

— Он очень любит театр, — сказала поэтесса Лиза, — мечтал стать актером, но пришлось идти куда-то, не знаю куда, но он занят, за ним приезжают и везут на заводы, на совещания, на аэродромы, еще куда-то. Я с ним всего неделю знакома. Через него к вам и стихи мои попали, ему самому неудобно было звонить, так он через кого-то...

Может быть, подумал Филармон Иванович, товарищ Бицепс из тех неприметных выше, что охраняют нашу секретность? Может, он генерал? Почему же ни разу не заметил он такую вот звезду среди светил и средоточий власти, не заметил и следов ее силы притяжения в космических порядках областного управления? Молод для генерала... Но так знаком в театре, даже билетерше знаком, а ему, приставленному к театру для руководства, незнаком начисто... Дотянуть бы до пенсии...

И тут, гуляя по фойе с поэтессой Лизой, понял Филармон Иванович, понял с несомненностью, что не дотянет до пенсии, что не соберутся на десять минут товарищи по работе, чтобы проводить его на заслуженный отдых, не скажет старший из них короткую речь, безразличную, если не к тебе она обращена, не твоей жизни итог подводит, но ждет ее с волнением уходящий, каждое слово ловит своего итога, взвешивает, сопоставляет, просыпаясь потом по ночам и вспоминая, а почему сказал "любил труд", а не сказал "трудолюбивый"? почему помолчал перед словами "позвольте обращаться к вам за советом"? Нет, не услышит он такой речи, не подарят ему ни часы имен-

ные, ни даже трехтомник Чернышевского с надписью, ни даже бюстик бессмертно прищурившегося вождя; не будет получать он поздравительные открытки ни к октябрю, ни к маю, ни даже ко Дню победы, самому, если честно, памятного для воевавшего дня; и помешает ему заслуженно помирать, в одиночестве читая и перечитывая дорогие свои конспекты, лишит его такой честно заработанной участи эта вот случайная птица, неведомо зачем залетевшая в его провинциальную жизнь, вполне на волос было, чтобы никогда им не встретиться, ни вероятности не имелось, ни случайности, ни закономерности, как в чьем-то рассказе метеорит голову человеку насмерть пробил; ни за что, ни про что — лишейся привычных перспектив, вылезай посреди маршрута из рейсового автобуса и топай в неведомое, где не ступала еще, может быть, нога человека, где нет коллектива, чтобы на пенсию проводить или хоть в почетном карауле у гроба постоять...

Пока он это понимал и думал, он прозевал начало стихов, которые ему читала поэтесса Лиза, и поймал только последние строчки:

Тени страхов называла мыслями,
Похоронив, вздохнула: удержала...
По руке, бессильно повисшей,
Последним грузом слеза сбежала...

— Это кто? — спросил Филармон Иванович.

— Это я, — ответила поэтесса Лиза. — К вышедшей замуж подруге.

Филармон Иванович почувствовал головокружение, фойе, по которому они гуляли, лишилось стен, превратилось в базар, запахло рыбой, он увидел себя, продающего темных угрей, зеркальных карпов, устриц и огромных крабов. Он остановился, судорожно схватившись за плечо поэтессы Лизы, стены вернулись на место. Вздохнув, Филармон Иванович сказал виновато:

— Душно здесь.

Под утро ему приснился сон.

Сначала почувствовал он запах рыбы, потом увидел себя и поэтессу Лизу в лодке, однако гребли не они, а молодой человек в дубленке, стоявший на корме и ловко управлявшийся с веслом. Филармон Иванович подумал было, что они плывут по реке, но увидел вместо берегов стены домов разного цвета и высоты, с балконами, увитыми хмелем, украшенными дикими розами; увидел дворцы с башнями, с колоннадами из белого и розового мрамора; к воде спускались кое-где ступени, покрытые темно-зеленым бархатом мхов, посыпанные капельками воды; над водой изогнулись горбатые каменные мосты и мостики; откуда-то доносилось пение — ни музыки, ни слов на неизвестном ему языке, Филармон Иванович прежде никогда в жизни не слышал, прекрасные голоса четко выговаривали каждый слог,

они пели: "Хостипс от прэцэс, тибидомиэ", и он, хотя и не знал языка, но тотчас понял, что это означает: "Как прекрасна жизнь, о, дорогой мой", и Лиза пропела: "О каро мио, ля бэлла вита", и это он понял тоже без запинки, и сообразил, что они в Венеции, где же еще, и плывут на очередное Бьенале, где он будет продавать устриц, купленных у греческих контрабандистов за бесценно, а Лиза будет читать стихи о коллапсирующих системах.

— Дон Бизаре Бицепсе, — сказал он гребцу, — черменте престо.

И бросил ему золотую монету. Молодой человек понимающе кивнул и приналег на весло. Лодка понеслась по каналу, над которым заглялись желтые, синие, зеленые и лиловые фонари...

Но до этого сна был поздний вечер. На черной машине молчаливый шифер вез режиссера, поэтессу Лизу, Филармона Ивановича и товарища Бицепса. Эрнст Зосимович сам пригласил Филармона Ивановича в машину, а режиссер сказал, что очень рад, разумеется, если товарищу Онушкину не поздно, а так, конечно, он очень рад видеть у себя неожиданного гостя, и вот они приехали и вошли в квартиру режиссера, где уже была прорва народу, где удивленно поздоровался с Филармоном Ивановичем известный ему директор самого большого в городе секретного предприятия, мелькнули еще знакомые и полужнакомые лица. Со стены грозно смотрел огромный Бог Саваоф ручной работы, с потолка свисали колокола и колокольчики, звонившие на разный лад, когда на них натыкались головами, а над кухонным окном висел настоящий штурвал, поблескивая надраенной медной отделкой. Потом Филармон Иванович оказался за длиннющим овальным столом рядом со старой актрисой, которую он знал хорошо, а она его не знала совсем, ему удалось почти ничего не пить и совсем ничего не говорить, да от него и не требовали, желающих пить и провозглашать тосты было навалом, режиссер стал озабоченным, куда-то выходил и выносил бутылки, но их опустошали сразу, не успевал он сесть, и тогда к нему подошел товарищ Бицепс, что-то спросил и пробрался к телефону, стоявшему за спиной Филармона Ивановича, так что последний невольно слышал, что говорил этот щуплый, но могущественный человек.

— Бицепс говорит. Би-цепс. Кто сегодня дежурит? Дайте ему трубочку. Анатолий, съездишь к Елене Ивановне, возьмешь ящик армянского, обязательно лимонов, остальное сами сообразите. Пусть запишут... И сюда. Да, у актеров. Двадцать минут тебе даю, ни секунды больше.

Филармон Иванович знал, конечно, что в интересах общего строительства приходится иногда простительно нарушать моральный кодекс отдельных строителей, но чтобы вот так глубокой ночью, через Елену Ивановну, ведающую, резиденцией для особых гостей, своих и зарубежных, вот так среди всех, включая беспартийных и случайных,

заказывать выпить и закусить, когда и в помине нет простительной причины и даже хоть какого-нибудь повода нет, а просто отдыхают частным образом люди, каждую ночь можно так отдыхать, чтобы такое было как бы и запросто, раз плюнуть – такого могущества и вообразить прежде Филармон Иванович не мог бы. И когда ровно через двадцать минут режиссер стал метать на стол бутылки коньяку, называя их ампулами, – Филармон Иванович начал пить рюмку за рюмкой, чувствуя с удовольствием, что хоть в какой-то мере спасает таким образом народное добро от бессмысленного расхищения.

Седая актриса говорила ему, хохоча, как ребенок, что товарищ Бицепс, имея, прямо скажем, не совсем понятную профессию, человек, однако, вполне душевный, отзывчивый, ничем таким не занимается, чтобы, знаете ли, телефоны подслушивать, это не по его части, анекдоты любит и сам иногда такое рассказывает! Я, говорила, хохоча, седая актриса, спросила, ну, чем же вы все-таки занимаетесь, ну, скажите мне, ну, откуда у вас такие связи и возможности, и он ответил мне под большим секретом, что должен же кто-то оберегать кое-что от того, что может кое-где случиться, понимаете? Вот он кто, а лишнее сказать он и сам иногда непрочь, только вот пить он много не любит, так, чуть-чуть, чисто символически. Однако выпить может сколько угодно – и ни в одном глазу, не смотрите, что такой худенький, в чем и душа держится. Наверно, их этому специально учат, как вы думаете? Вас, например, учили этому или вы самоучка? И он такой добрый, скольким актерам квартиры дал, а моего сына, – сказала седая актриса, плача, – он даже от армии освободил, никто не мог помочь, а он куда-то съездил – и сын остался дома, как его отблагодарить, ума не приложу, посоветуйте, чем таких, как он, благодарят?

Тут подошла поэтесса Лиза, взяла Филармона Ивановича под руку и подвела к товарищу Бицепсу, который устало записывал что-то в черную книжечку с золотым обрезом, а директор секретного предприятия стоял над ним и настаивал:

– Эрик, мне эта марка стали позарез, никак без нее, фонды выбрали, до конца года еще больше двух месяцев, пойми, Эрик...

– Это я записал, – сказал Бицепс. – Еще что?

– Не отпускают ко мне Нянгизаева...

– Другая республика, другой совмин, – сказал Бицепс, думая.

– Ладно, завтра часов в двенадцать я выйду, пройдуся, у памятника пусть машина меня ждет... Ровно в двенадцать!

– Сам подскочу! – обрадовался директор.

– Все у тебя, Рэм?

– Завтра поговорим, мелочи остались.

– Ну, отдыхай, Рэм, танцуй, а то поправляешься...

О Нянгизяеве Филармон Иванович слышал, очень высокое на-

частьство, давно уже хлопотало его получить себе, в центре отказывали, а товарищ Бицепс...

– Что у вас, Елизавета Петровна? – спросил товарищ Бицепс.

– Нужна дубленка, – сказала поэтесса Лиза, садясь на ручку его кресла и кивнув на Филармона Ивановича.

– Зачем она вам? – ласково спросил его Бицепс.

– Это правда, что вас учили пить и не пьянеть? – брякнул басом Филармон Иванович.

– Сказки, дорогой Филармон Иванович, – ответил Бицепс. – Страшные сказки без счастливого конца. Садитель, вот же стул.

Поэтесса Лиза деликатно ушла.

– Не хочу, – сказал Филармон Иванович.

– Дубленка не проблема, – сказал Бицепс. – Половина театра ходит в дубленках, которые я им достал. У режиссера уже три. Но не помогает это ему, Филармон Иванович, ни как художнику, ни как человеку. Не помогает... Да съядте вы!

– Не хочу, – сказал Филармон Иванович и сел.

– Больше всего на свете люблю театр, – меланхолически сказал Бицепс. – И все мы в нем актеры... А вы?

– Да, – сказал Филармон Иванович и захохотал, закинув голову. Бицепс посмотрел на него, улыбнулся не то укоризненно, не то удовлетворенно и сказал бесцветным голосом:

– Вот он Гоголя будет ставить. А спросите, что он понимает в Гоголе? Спрашивали?

– Нет.

– Хотите, я спрошу?

И Бицепс спросил, и режиссер ответил длинно, но что именно – Филармон Иванович не мог понять ни тогда, ни вспомнить после.

– Видели? – риторически спросил Бицепс, когда режиссер удалился. Поэтесса Лиза подкатила им столик на колесиках с коньяком и лимонами и исчезла, помахав ручкой. – "Ревизора" он будет ставить... Три дубленки... Все через меня... А понятия не имеет ни о чистой силе ни о нечистой... В театре Гоголя ни одно ружье не стреляет, никогда! Да что там ружье... Хотите, достану вам ружье? Именное? Многие хотят... Выпьем, Филармон Иванович, за Гоголя, умнейший был в России человек, в Италию сбежал, говорят, от родных сосуществователей... Только в Италии какой же "Ревизор"? Там, дорогой Филармон Иванович, венецианский мавр, Гольдони и вообще Дук его прости. Нет, нет, сидите, прошу вас!

На этот раз у Бицепса попросили гараж и место под него, он написал записочку кому-то. Потом выпили за театр с Филармоном Ивановичем, авторитет которого рос на глазах от близости с таким человеком, потом написал просьбу выхлопотать машину "Жигули" обязательно цвета черного кофе с перламутром, опять выпил за театр,

обеспечил место чьей-то жене в правительственной санатории под Сочи, опять выпил за театр, записал размеры заграничной оправы кому-то для очков, опять выпил, опять обеспечил кого-то оцинкованным железом и котлом для дачи, опять выпил за театр — и все чокаясь с Филармоном Ивановичем. Потом Филармон Иванович слышал, как все кричали ура в честь Бицепса и пели "К нам приехал наш родимый Эрнст Зосимович дорогой", потом Бицепс передавал его в руки молчаливому шоферу и сказал на прощание, чтобы без пяти двенадцать принес к памятнику семьдесят три рубля и записку, какой ему размер и рост, а также адрес, и чтобы вечером с семи был дома, ему доставят, и дома Филармон Иванович заснул и увидел Венецию, что же еще...

Филармон Иванович погладил Персика, от кота пахло терпкими духами, у Филармона Ивановича испуганно приостановилось сердце, пока он не понял, что за эту руку его вела к Бицепсу Лиза. Он набрал ее номер, никто не снял трубку, хотя он звонил минут десять. После этого он взял деньги, завернул их в конверт, надписал размер, рост и адрес и выбежал. Шел дождь пополам со снегом, что вызвало в нем прилив буйной радости. Из автомата он позвонил секретарше их сектора и сказал ей басом, что простудился и едет прямо в дом культуры, будет после двенадцати. Но вошел не в дом культуры, а в жилой, лифтом не воспользовался, вдруг застрянет, влез на десятый этаж пешком и позвонил в музыкально отозвавшийся звонок. Звонил он долго и настойчиво. Наконец за дверью послышались шаги.

— Кто там? — спросил голос поэтессы Лизы.

— Откройте, — сказал Филармон Иванович.

В прихожей ее квартиры он посмотрел сначала на нее, обтянутую джинсами и свитером, как чулком, потом на бежевую выворотку с белым воротником, висевшую на вешалке, оглянулся на грязные следы его, Филармона Ивановича, ног у дверей и сказал дрогнувшими губами:

— Дайте, пожалуйста, Елизавета Петровна, чем писать.

Получив карандаш, он вынул мятый конверт, дописал под адресом три слова: "черную, вообще темную" и протянул конверт все время молчавшей поэтессе Лизе.

— Попросите, Елизавета Петровна, чтобы не приходите мне без пяти двенадцать, сегодня, Елизавета Петровна, я никак не могу почти...

На работе он бродил, заглядывая в разные кабинеты, даже спускался раз десять в вестибюль к милиционеру, проверявшему входящих и выходящих, а без пяти двенадцать остановился у своего окна, откуда был хорошо виден памятник. У памятника уже стояла черная машина, около нее шагал взад-вперед директор секретного предприятия. Ровно в двенадцать появился Бицепс, они с директором обнялись, сели в машину и укатили.

Долго стоял у окна Филармон Иванович, заметно думая.

— А вреда от него никому никакого нет! — вдруг сказал басом Филармон Иванович, оглушительно захохотал, но тут же смолк и оглянулся, вытаращив глаза.

В кабинет заглянула секретарша сектора, с прической типа "хала" на предпенсионной голове, хранившая за невозмутимостью лица личные и общественные тайны. Она посмотрела пристально на испуганного Филармона Ивановича и спросила:

— Вы один?

— Кашель, — сокрушенно сказал инструктор.

— Вам никто не звонил, — и секретарша хлопнула дверью.

Но ему тут же позвонили.

— Пожалуйста, — сказала поэтесса Лиза, — заезжайте вечером за мной, поедем в гости, ну, пожалуйста...

— После семи... — начал было он.

— Хоть в час ночи! Очень вас прошу, ну, пожалуйста, я буду читать стихи!

— Постараюсь, — сказал он.

Значит договорились?

— Ага, — подтвердил он и, еще не вешая трубку, снова почему-то захохотал, смолк поскорее и стал прислушиваться, но секретарша продолжала стучать на машинке и больше к нему не вошла. Инструктор, конечно, ощутил неладное, но не сосредоточился...

К вечеру стало совсем холодно, пошел чистый снег. Филармон Иванович, которому днем мерещилось потепление, яркое солнце, ясное небо и прочее такое, что в городе случалось редко, пришел в возбуждение, буйная радость к нему вернулась, от нее ожидание стало совсем нестерпимым, без двадцати семь он уже просто ходил по коридорчику своей квартиры у входной двери — от нее и к ней, к ней и от нее. Ровно в семь раздался звонок, Филармон Иванович в этот момент был у двери и открыл ее, когда звонок еще звенел.

— Товарищ Онушкин? — спросил молодой молчаливый человек. — Получите.

И протянул ему большой сверток, обвязанный обыкновенным шпагатом.

— Расписаться? За доставку сколько с меня? — забормотал Филармон Иванович, беря сверток.

Глава 4

”Фамилия, имя, отчество?”

Но молодой человек уже убежал, не ответив ему ни полслова.

— Спасибо, — тихо сказал Филармон Иванович, прислушиваясь. Хлопнула дверь в парадном, взревел мощный мотор. Филармон Иванович пошел в комнату, не задвинув запор, положил сверток на стол, разрезал шпагат.

На столе разлеглась, раскинув рукава, словно готовясь принять его в свои объятия, новенькая дубленка, темно-шоколадная со светлым мехом, с круглыми черными пуговицами. Филармон Иванович надел ее, нигде не жало. Он посмотрел в зеркало, расправив плечи и высоко подняв голову. Конечно, он не слышал, как открылась и закрылась входная дверь, как кто-то вошел в комнату за его спиной. Только когда что-то мелькнуло в зеркале он повернулся всем телом, как герой в ковбойском фильме, но перед ним стоял не вор, не грабитель и вообще не враг, а поэтесса Лиза в шубке необыкновенной привлекательности из серого меха, а также беличьей шапке и в высоких сапожках.

— Я на такси, — сказала она.

— Я уже оделся, — сказал он.

Некоторые сомнения у него были только на счет своей шапки, довольно-таки старой, на затылке протертой до кожи, что было, впрочем, совсем незаметно, зато подходившей коричневым верхом, но раз на такси, то шапку можно было и в руке поносить.

Дубленок на улице было мало, гораздо больше было пальто, похожих на его старое, теперь уже навсегда отжившее, поскорее бы выбросить. Красота поэтессы Лизы меньше всего привлекала его внимание, которое рассеивалось. Он одновременно наблюдал, как одеты люди, и думал о том, что его ждет впереди. Мелькнула было привычная мысль, что люди одеты гораздо лучше, чем после войны или десять лет назад, но тут же эта мысль, так и не укрепившись словами и цифрами, как-то виновато усмехнулась и пропала, он только моргнул досадливо ей вслед. Еще он подумал с тревогой, во что-то она одета под шубкой и как там будут одеты все остальные, а, главное, как они будут себя вести? До него доходили слухи о современной молодежи, что иногда смотрит подпольные порнографические филь-

мы и случается стриптиз. Коллеги со знанием дела обличали в соответствующей обстановке и такие фильмы и стриптиз, но позволяли себе, обличая, иногда подмигнуть. И вот перед Филармоном Ивановичем стали проноситься картины, одна интереснее другой. Так, он увидел не то табачный дым, не то пар, современную молодежь, очень недоодетую, обезьяно-подобный молодой чедовек в красных плавках все выше и выше качал на качелях полногрудую девицу с закрытыми глазами, из одного угла гремела отвратительная музыка без слов, а их других раздавались враждебные голоса; толстая девица в очках вышла на четвереньках из соседней комнаты, на ней верхом ехала неимоверно тощая, хлопала ее по задку театральной программой и кричала, что страна не может привести человечество к счастью, если в ней все в дефиците, даже пипифакс. Филармон Иванович зажмурился, помотал головой и сказал поэтесса Лизе:

— Называйте меня сегодня просто на вы.

— Имя неотделимо от человека, — возразила поэтесса Лиза.

— Только на сегодня, — сказал он, открывая глаза.

Такси остановилось на перекрестке, и Филармон Иванович отшатнулся: чуть не вплотную было перед ним лицо начальства, не наивысшего, но все-таки очень высокого, которое, заметив красоту поэтессы Лизы, перестало сидеть развалиясь, а выглянуло на нее из окна своей машины, даже открыв стекло, несмотря на холод. Затем оно перевело взор на его дубленку, примеривая себя к его месту рядом с такой красотой, и вдруг осознало, кто же это в дубленке. Начальство не сумело скрыть изумления, хотя по достигнутому рангу полагалось бы таких чувств наружно не выказывать. Филармон Иванович не успел почтительно поздороваться, как надлежало по рангу ему, пусть после того, как его узнали, а не сразу, что единственно правильно, но не успел, потому что дали зеленый и высокое начальство унеслось вперед с вывернутой шеей и изумлением на лице.

— А он, по-моему, в пальто, — нашелся Филармон Иванович, и поэтесса Лиза все оценила углом глаза.

Под шубкой поэтесса Лиза оказалась в длинном и вполне строгом платье с цветами, только с правого бока разрезанным от пола до пояса, но в разрезе не все и не всегда было видно. Гольх не было, вообще были только хозяин с женой, совсем молодые, даже водка отсутствовала, одно сухое вино.

Поэтесса Лиза читала стихи тем же голосом, что и говорила — певуче, с хриповатой ленью:

В человеческих играх есть грань —
На ней умирает игра.
И становится тихо.
Как в тире,
Когда там меняют мишени.

И становится плохо.
Как в мире,
Когда принимают решение.
Как в море,
Упав за борт, смотреть кораблю вослед.
И знать, что напрасно звать.
Как в морге
В знакомых чертах искать и не узнавать.
Как в мороке
Пьяного сна замысел потерять.
В человеческих играх есть грань –
На ней умирает игра.

– “Это о ком же?” – подумал Филармон Иванович.

А она еще читала:

Строчка письма, горсточка букв –
Проще простого такую черкнуть.
Дверь. И каждый в нее звонок,
Как на расстреле с осечкой курка шелчок.
И снова ждать. Ломкие пальцы рук.
Строчку письма, горсточку букв.

Это точно, очень у нее ломкие пальцы, думал Филармон Иванович, и его начало слегка трясти, как трясет от стужи или перепоя.

Потом говорили, и Филармон Иванович чувствовал себя уверенно, потому что все время вспоминал о своей дубленке, висящей в прихожей, и потому уверенно высказал свою точку зрения о стихах:

– У многих судьба отдельно, а стихи отдельно, несмотря на талант. У вас тоже. Незрелость это.

Глаза у поэтессы Лизы стали узкими и она сказала:

– Не вы ли мне “Ихтиандра” вернули?

– Было, – сказал Филармон Иванович. – Так и у вас, Елизавета Петровна, судьба отдельно...

– Отдельно от чего?

– От всего, Елизавета Петровна, от вас, например, тоже...

– А у Эрнста Зосимовича? – спросила поэтесса Лиза.

– О товарище Бицепсе не будем, Елизавета Петровна, – сказал Филармон Иванович, неожиданно окончательно прозревая. – Не будем...

Сердце стучало у него в висках, щекам было жарко изнутри, он говорил быстро и охотно. Сказала, например, хозяйка о неизвестных ему людях:

– Он не может жить с ней, а она не может жить с ним, однако, живут почему-то...

А он разъяснил:

— В жизни жены и мужа не потому никто посторонний не может разобраться, что отношения мужа и жены посторонним недостаточно подробно известны, а потому, что самим мужу и жене их отношения не до конца понятны, а если им самим не распутаться, то где уж посторонним?

— А если они еще не муж и не жена? — спросил хозяин.

— А как же распутаться? — спросила поэтесса Лиза.

— Молодые люди, а не знаете, — сказал Филармон Иванович, вспоминая о дубленке, — что распутать может только любовь.

— Вас крестили? — спросила поэтесса Лиза.

— Отец дежурил с ружьем у моей колыбели, — ответил он, — чтобы не допустить совершения надо мной гнусного обряда. Но утратил бдительность, теща его напоила, украла меня и осквернила, как он объяснял. А какое имя нарекли — не знаю...

— Боже мой, — сказала поэтесса Лиза. — Какие были смешные люди...

И Филармон Иванович не обиделся, а улыбнулся сам себе обезоживающей улыбкой, потому что вспомнил, как отец повторял:

— Я всегда сохранял негиблемый оптимизм, даже перед дулом ружья на расстреле, а расстреливали меня часто.

— Почему вы иногда говорите басом? — спросила поэтесса Лиза.

— С горлом что-то, — ответил Филармон Иванович, вспоминая о дубленке.

— Позвоните мне, — сказала поэтесса Лиза, когда они прощались.

Он стоял в дверях с шапкой в руке, расправив плечи под дубленкой, и ничего опять не видел, кроме распахнутого лица поэтессы Лизы. К этому лицу бросило его лицо, закрывая глаза, он к нему прижался и секунду чувствовал ее бровь, скулу, нос, угол ее губ — бровь бровью, носом скулу, скулой нос, углом губ угол губ, потом отвернулся и пошел прочь.

— Мне так отрадно было с вами, — произнес он уже на улице, надевая обеими руками шапку.

Под утро ему приснился сон.

За рекой его сорокалетнего прошлого около леса имелся пруд, и вот после заката он стоял на берегу пруда и смотрел на его темную поверхность, по которой плавали белые лилии, те самые, которые, как он узнал недавно из печати, занесены в красную книгу всемирно вымирающих растений и животных. Он смотрел и думал, как жалко, что они вымирают, что надо бы распорядиться, чтобы не вымирали, вообще давно пора принять какое-то решение насчет изменений, а лилии становились все блее, вода под ними светлела, делалась прозрачнее, вот уже и весь пруд стал прозрачным, и тогда он разглядел, что лилии вовсе не лилии, и не плавают они в воде, а сидят на берегу, имеют светлые головы и руки, что это дети, причем некоторые ему

как бы и знакомы. Пионерских галстуков на них не было, вожатый или учитель, вообще взрослые отсутствовали, как сюда попали дети в белых рубашках — он решительно не понимал.

Тут из пруда вышла его жена и сказала сквозь слезы, уходя мимо него к лесу:

— Все ты забыл, это же дети, которых не успели крестить, никогда это тебе не отпустится, а моего и здесь нет.

У леса она села в черную машину к Бицепсу, который сказал ей:

— Сколько ждать можно, Дук тебя прости.

И они укатили, а один мальчик подошел к Филармону Ивановичу и сказал:

— Возьми меня с собой, очень тебя прошу. Я хочу у тебя пожить.

— А остальные? — спросил Филармон Иванович.

— А они к тебе не хотят, — сказал мальчик.

Филармон Иванович нес его, согревая на груди под полами дубленки, а мальчик говорил:

— Через год принеси меня сюда и мы простимся. Я буду у тебя жить, только смотри, чтобы никто меня не видел, этого нельзя, придумай, где меня поселишь.

Дом у Филармона Ивановича оказался для этого очень подходящий, с большой русской печкой, с маленькими окнами — такой был в детстве, но во сне жил он в нем совсем один. Он поселил мальчика на печи, задернул занавеску, ночью выпускал погулять, кормил его, читал ему книжки, рассказывал сказки. Все было бы хорошо, только вот Персик от мальчика шарахался, почти совсем из дому пропал, забегал иногда исхудалый, жадно наедался, шипел на печь, выгнув спину и вздыбив шерсть, мальчик выглядывал, звал его поиграть, но Персик пятился к двери и удирал.

Однажды собрались у Филармона Ивановича все его родственники, среди которых была и Лиза, по случаю какого-то праздника; не то Нового Года, не то Рождества, не то Пасхи — это во сне не было ему ясно. Сидели за общим столом, много ели, пили, говорили. Жена и Лиза спели на два голоса очень красиво:

Не забывай, что послы вьюги
В поля опять приходит май.
Не забывай своей подруги,
Своей судьбы, своей любви — не забывай.

Словом, хорошо посидели, расходиться стали за полночь, тут Онушкин-старший, почему-то тоже пришедший на праздник, хотя как помнил Филармон Иванович, в данный момент лечился от радикулита в больнице, и говорит:

— Хорошо, что все мы хоть раз в жизни собрались вместе. Все

пришли!

Тут раздался смех, и Филармон Иванович, похолодев, ждал разоблачения того, что у него на печи живет мальчик.

— Кто это смеется? — спросил отец.

— Показалось тебе, — сказал Филармон Иванович.

— Так что я говорил? — продолжал отец. — Хорошо, говорил я, что все мы без единого исключения собрались сегодня...

И опять мальчик не удержался и рассмеялся.

— Кто-то смеется, — сказал Онушкин-старший.

— Это ветер в трубе, — сказал Филармон Иванович.

Прошел год, он прощался с мальчиком у пруда, на темной поверхности которого плавали белые лилии, и спросил:

— Чему ты смеялся, когда отец сказал, что мы все собрались?

— Он не знал, — сказал мальчик, радостно улыбаясь, — что скоро придет домой, а его сын висит, удавившись.

Филармон Иванович подумал, вспомнил, что у его отца один сын, и сказал:

— Хорошо мы с тобой год прожили, я с тобой расставаться не хочу, а ты чему же это радуешься?

— Вот и я не хочу с тобой расставаться, — сказал мальчик, крепко обнимая его.

— Совсем не собираюсь я руки на себя накладывать, — сказал Филармон Иванович.

— Как знаешь, — сказал мальчик, погрузнев.

Филармон Иванович вернулся в избу, обошел ее — не висит ли он где-нибудь, сел у окна, стал смотреть на лес, в тени которого скрывался пруд. Почему-то на печи резко зазвонил телефон, и ему пришлось проснуться с тревогой в душе.

Было восемь часов утра.

— Не дождетесь, — сказал Филармон Иванович неизвестно кому, и смутно припомнил, что в его родне кто-то повесился, очень давно, кажется, от несчастной любви, было такое, но кто именно — он вспомнить не успел, потому что тревожно зазвонил телефон — тем же в точности звоном, что на печи во сне.

Была одна минута девятого.

С первых слов понял Филармон Иванович, что дело плохо. Звонили из того сектора, который помещался за дверью прочной, как у сейфа, который и сам был таким вот сейфом. Там работали самые молчаливые из всех молчаливых, самые невыразительные из невыразительных, самые засекреченные из засекреченных. Если они кому-нибудь звонили, то это почти всегда было началом беды, а если домой, да еще за два часа до начала рабочего дня, да еще если накануне секретарша хлопнула дверью, да если еще и совесть не кристально чиста...

— А в чем все-таки дело? — попытался спросить Филармон Ива-

нович, хотя и знал, что бесполезно, не объяснят никогда, сердца твоего не пощадят, возраста не уважат, ни на жалость тут не возьмешь, ни на хитрость, потому что безразличен ты им вообще с твоим сердцем, возрастом, хитростью, почками, мыслями, чувствами и прочими потрохами; знал, а все-таки спросил, так, наверное, не удерживается и спрашивает, в чем дело, птенец, вытщенный змеей из гнезда и проваливающийся в ее холодное нутро; спросил, и ему, конечно, не ответили ничего и не объяснили, а только пуще напугали отсутствием даже намеков.

И вот он через два часа сидит перед следователем, и тот спрашивает:

— Фамилия, имя, отчество?

— Филармон Иванович Онушкин, — ответил он.

— Знаете ли вы Эрнста Зосимовича Бицепса?

— Да...

После работы, где все пока было, как всегда, только секретарша секртора с ним не поздоровалась, он вернулся домой и крепко подумав, вспомнил, что есть у него покровитель и, может быть, даже защитник.

Несколько лет назад был прием в Доме дружбы в честь делегации братской страны — тот самый, между прочим, на котором начало свой путь от номенклатуры к продаже земляники предыдущее начальство Филармона Ивановича, начальство видное, кудрявое, с открытым лицом. Был на приеме и Филармон Иванович с женой, почти не ели, хотя и велено было во время этого а ля фуршета столбами не стоять, а общаться свободно и оживленно, в духе того времени; но стоять в сторонке, что бы сверху ни говорили, всегда безопаснее, ошибки не совершишь, в худшем случае в личной беседе упрекнуть, а вот за неправильное общение — ой-ой-ой. Тут подошел к ним свой, соотечественник, худой товарищ, лет шестидесяти, и заговорил. Наружность он имел запоминающуюся — длинный кривой нос почти соприкасался с подбородком, вытянутым, как острый носик дамской туфли, а между носом и подбородком выпирала нижняя губа, в то время как верхней губы не было начисто; седая челка падала на высокий лоб с провалившимися висками, щеки над скулами провалились тоже; глаза горели вечным огнем, в огне полыхала доброта, сочувствие и тягостный опыт жизни — неподвижно напряглись от усталости нижние веки и не расслаблялись ни на миг.

— Если что, сказал соотечественник после разговора, кто, да где работает, да воевал ли и прочее такое, — и огонь в глазах его залила на секунду пелена любви и дружбы, — если что, вдруг, мало ли, в жизни бывает, позвони прямо домой, не стесняйся, запиши телефон... Мало ли что, всякое в жизни, мне ли не знать...

Не сразу поверил тогда Филармон Иванович неожиданному покрови-

вителью, с полгода ждал, не кроется ли что за этим, но ничего не крылось, и тогда бережно спрятал он бумажку, на которой записан был домашний телефон товарища Таганрога. Спрятал и носил, как талисман, как охранную грамоту, в которой так нуждается каждый, буквально каждый и грела эта бумажка его сердце, и вспомнил он влажные от доброты глаза многоопытного друга и номер его телефона.

— Слушаю, — ответила трубка. — Кто беспокоит? А, товарищ Онушкин. Как забыть, дорогой мой человек, и вечер помню, и вас, и жену вашу, родом, помниться, с Иртыша. С Белой? Дела? Конечно, дела, без дел кто же мне, хе-хе, позвонит, да ничего, дорогой мой человек, не смущайтесь, для дела-то я вам и телефон оставил, верно? Вас понял, выезжаю немедленно, диктуйте адрес.

И вот товарищ Таганрог собственной персоной ходит по квартире Филармона Ивановича и говорит:

— Котик у вас славный! Персик? Оригинальное имя, редко встречал среди котов. Но встречал! А есть ли, спросите, на свете такое, чего бы я не встречал? Рассказать мою жизнь на бумаге, — Нобелевскую премию можно получить. Можно, можно, поверьте Филармон Иванович, запросто можно! Ей-Богу! Вы в Бога верите? Нет, конечно, а я и не знаю, честно говоря, скорее всего, нет его все-таки, а? Да, так как здоровьице, как сердчишко, не шалит? Иван Иванович как? В больнице? Надо же... Ну, ничего, может, там подлечат, хотя честно говоря, полы-то там паркетные, а врачи анкетные, а? Хе-хе, боитесь. Не бойтесь, мне-то можно все сказать, можно и должно, Филармон Иванович. А жена родных поехала проведать? Хорошее дело, но пора бы и вернуться, а? Детей у вас нет — может, доктора вам по этой части посоветовать, а? Я больше народной медицине верю, бабушкам-прабабушкам, жаль, прижимают их, а? Но и то сказать, дорогой мой человек, денег они гребут — тысячи, десятки тысяч, куда же это годится?

Филармон Иванович поставил на стол водку из холодильника, положил закуску, усадил дорогого гостя, налил. От негромкого голоса товарища Таганрога исходили сила и спокойствие. Пить он, однако, отказался, сказал, что сначала дело, достал блокнот и ручку, велел все подробно рассказать, а сам мелко-мелко записывал.

Все рассказал ему Филармон Иванович — и про Бицепса, и про его странности, и про дубленку, которую тут же гостю показал, и про семьдесят три рубля, и про вчерашний поход в гости, и про настойчивость следователя. И просил совета. Таганрог все записал, подробности перепроверил, помолчал и спросил:

— Все рассказали?

— Все, — сказал Филармон Иванович, вспоминая. Умолчал он только о снах, а остальное рассказал, вроде бы, все.

— Значит, так, — сказал Таганрог. — Дубленку завтра утром

отвезти следователю и сдать под расписку. На работе подать немедленно заявление об уходе по личным обстоятельствам. Обо всем подробно написать и передать через меня или лично куда следует. Ни одного имени не забыть, где имени не знаете — там опишите внешний вид. И свою им оценку, особенно режиссеру. Еще не все потеряно, дорогой мой человек!

— Не хочу, — сказал басом Филармон Иванович.

— Что это вы не своим голосом-то, а? — прищурился товарищ Таганрог.

— С горлом что-то, — сказал испуганно Филармон Иванович. — Знаете, меняется вдруг голос...

— Да, все течет, все изменяется, — меланхолически сказал Таганрог. — Захотите! Нет у вас другого выхода, захотите!

— Надо бы найти другой, товарищ Таганрог, — попросил Филармон Иванович. — Мы выпьем, а вы подумайте...

— О чем? Наивысшее начальство лично решило, а вы думать хотите?

— Наивысшее?

— Не верите? — Таганрог стал суровым и отчужденным. — Я, товарищ Онушкин, хоть и без пяти минут на пенсии, но есть у меня еще друзья, есть! Пить мне некогда. Ведь не захотите вы писать — придется мне.

Помолчали. Филармон Иванович тупо смотрел в пол. Таганрог встал и решительно спрятал блокнот и ручку.

— Товарищ Таганрог, — с трудом выговорил Филармон Иванович.

— Я совет дал? — сурово сказал тот. — Дал. Правильный совет? Правильный. Вы не хотите им воспользоваться? Дело ваше, товарищ Онушкин.

Филармон Иванович тоже встал и все-таки не удержался и посмотрел товарищу Таганрогу в глаза. Изменились глаза, не было в них ничего такого, что горело раньше, только нижние веки остались, как и были, в напряженном состоянии, а над ними ничего — пустые глазницы, дырки, как у черепа.

И в эти смелые отверстия, где только что светились понимание и расположение, а чеперь чернела пустота, совсем непредвиденно для себя, словно мальчишка в деревне, вдруг Филармон Иванович плюнул, сжигая корабли и погружаясь в Рубикон без всякого теперь талисмана...

Время, которое и без того идет быстро, понеслось теперь со второй космической скоростью.

И вот стоит понуро Филармон Иванович перед непосредственным начальством, отозванным из сладкого отпуска, и слушает упреки, смешанные со стонами от жалости — не к Филармону Ивановичу,

что его жалеть, а к себе, невинно страдающему, потерпевшему из-за этого инструктора:

— Из-за вас, из-за вас вообще чуть было не того! Где этот проклятый "Ихтиандр", о нем-то зачем надо было посторонним, кто за язык тянул? Хорошо — не читал я, свидетели есть — не читал! Нет, от меня лично ничего не ждите! Там дотерпеть не могли, пока ваш благодетель на пенсию согласится уйти, три дня праздновали, когда у него заявление вырвали, а тут вы! Ну, Бицепса не вам было раскусить, но у этого-то, между нами, конечно, на лице все крупными буквами написано!

— Товарищ Бицепс... — начал Филармон Иванович, но начальство еще глубже погрузилось в личное горе и слушать нижестоящих не могло:

— Товарищ! Вид напустил, что товарищ! Прямо гипноз какой-то — беспартийный эмбрион, образование ниже среднего, а стал всем знаком, всем друг, товарищ, чуть ли не брат, с какими людьми контакты имел — гипноз, да и только! Без пропуска на секретные заводы въезжал, в финской бане столичных генералов принимал! Товарищ! Два года разоблачить не могли, случай помог... И тоже мне, пижон, — себе ничего не брал, все для других, мерзавец, да для других! Вы понимаете, что меня снять могли, меня?! Нет, идите, идите...

А потом стоял Филармон Иванович перед следователем, на столе у того лежал большой сверток, обвязанный обыкновенным шпагатом, и следователь написал расписку, что Ф.И. Онушкин возвратил государству дублировку, приобретенную незаконным путем, и на улице было холодно, и странно выглядел в толпе и трамвае человек среднего роста, отлично сохранившийся, можно сказать, нержавеющей, одетый в костюм, коричневую шапку с опущенными ушами, обмотавшийся шарфом до подбородка включительно.

А потом был Филармон Иванович в зале, где в левом углу беломраморный бюст с бородой, в правом углу — другой, но тоже беломраморный и тоже с бородой, на стене между углами огромный портрет Ленина во время шага вперед, под портретом за длинным-длинным столом, у его торца возвышалось, как на троне, наивысшее начальство, а по обеим сторонам стола сидело остальное начальство, чем дальше от наивысшего, тем ниже рангом, однако и не без обоснованных исключений; не у стола, а просто на стульях вдоль стен располагались прочие, которые руки не поднимают при вопросе "кто за". Только что в этом зале стал бывшим директор секретного предприятия, хотя сталь нужной марки Бицепс добыть ему все-таки успел, но сталь взяли, а директора сняли, более того, исключили из рядов за утрату бдительности, связь с проходимцем и сто других аморальностей; только что разоблачили свои ошибки другие товарищи, включая режиссера и начальника телефонов, разоблачили, кто потеряв, однако, и должность,

и членство, кто только должность, а кто и временно уцелел; и вот настала та минута, которая была отведена в этом хорошо подготовленном заседании на инструктора сектора культуры Онушкина Филармона Ивановича, год рождения 1919, члена партии с 1945 года, и все такое прочее. Он встал, когда услышал свое имя, но сначала был спрошен товарищ, отвечавший за торговлю, потому что наивысшее начальство проявило человеческое внимание к проблеме верхней одежды для рядового начальства и брезгливо напомнило, стукнув кулаком по столу, что еще в августе распорядилось завести на склад дубленки из расчета на всех, вплоть до инструкторов, но отвечавший за торговлю объяснил, что еще в августе завезли и в августе же в основном распределили по устным указаниям тех, кто был более ответственный, чем он, отвечавший всего лишь за торговлю. И наивысшее начальство нахмурилось и посмотрело на более ответственных, и более ответственные в свою очередь нахмурились и посмотрели на многих, а многие посмотрели на остальных, и остальные тоже нахмурились, и все посмотрели на стоявшего столбом Филармона Ивановича. Тут наивысшее начальство, стукнув кулаком, брезгливо велело снова завезти и распределять только по его, наивысшего начальства, письменным указаниям, не иначе, и после этого велело говорить Филармону Ивановичу. И тот начал:

— Все началось с "Ихтиандра"...

— С кого? — переспросило наивысшее начальство.

— Это стихи в прозе, — пояснил Филармон Иванович.

— Что ты мелешь? — стукнуло кулаком наивысшее начальство и посмотрело вокруг, ища кого-нибудь потолковее.

Непосредственное начальство Филармона Ивановича вскочило, едва взгляд наивысшего начальства прикоснулся к нему, и быстро сказало, что вопрос ясен, поведение — дальше некуда, падение — ниже некуда, есть предложение — гнать метлой, очищая. Не успело оно сесть, как встало начальство, отвечающее за, в том числе, следственные органы, и сказало, что мало того, еще и всучил, прикинувшись простачком, следователю старое пальто, получив обманом расписку за дубленку; но по ордеру, с соблюдением законности, сейчас вот в гардеробе на его номер повесили старое пальто, а дубленку конфисковали, так что точно, что дальше некуда, можно и судить.

Вот тут и произошло такое, чего, наверное, в подобных местах не происходит, а если и происходит, то редко и не должно. Филармон Иванович начал снимать пиджак, развязывать галстук, словом, стал раздеваться, но так решительно и неторопливо, что надо бы сказать — стал разоблачаться, как священник после службы, говорил же при этом быстро и бестолково:

— Пиджак возьмите... И пальто с того же склада... И пиджак оттуда... Все берите... если бы в августе, тоже бы семьдесят три рубля...

в августе не дали, а я о ней и не думал в августе... и галстук берите... Шнурки уже мои, а ботинки тоже со склада... Берите все, носите, не жалко... Сорок лет работы, тридцать четыре стажа, война, рубашка тоже со склада, а мне не надо...

— Убрать, — брезгливо сказала наивысшее начальство. — Снять и исключить. Принято единогласно.

И добавило помощнику через левое плечо:

— До пенсии трудоустроить.

Филармона Ивановича вывели, одели и вывели из двorca в стиле Карла Ивановича России и навсегда.

Дома Филармон Иванович напоил Персика молоком, потом взял его на руки и глядя сказал:

— Почему ты Персик? Хоть бы один рыжий волос имел...

— Так назвали, — ответил Персик.

— Назвали! А ты бы переименовался!

— Бессловесная тварь переименоваться не может, — возразил Персик.

— Какая же ты бессловесная, если со мной разговариваешь?

— Так то с вами, — уклончиво ответил Персик.

— Говори мне ты, — приказал Филармон Иванович. — Если тебе говорят ты, ты обязан тоже говорить ты! Всегда и везде!

— Ты-то не везде, — послушно перешел на ты Персик.

— Не тебе в это вникать!

— Спусти меня, пожалуйста, на пол, — попросил Персик.

— Все вы, кошки, предатели: третесь у ног, пока есть хотите, а насытитесь — и наплевать на хозяев, — с горечью сказал Филармон Иванович, ставя кота на диван.

— Это не совсем так, — уклончиво заметил Персик.

А потом Филармон Иванович давал показания на суде по делу Бицепса и слышал его последнее слово. Эрнст Зосимович говорил, как всегда, невыразительным голосом, но заботился, чтобы его слышали.

— Почему так легко поверили умные, казалось бы, люди, — примерно так говорил Бицепс, — что я облечен огромной властью, хотя ее не было вовсе? Не знаю, гражданин судья, спросите у них, Дук их прости. По-моему, каждому что-нибудь надо, и дружба, даже знакомство с начальством всегда в дефиците. А мне-то зачем было надо всех оделять по потребности? Тут гражданин прокурор на меня насчитал и бензин и труд водителей, что возили меня и друзей, и даже амортизацию машин, но ведь это надо для срока, а себе-то я и рубля не взял! Так зачем? Я, гражданин судья, мечтал стать актером, сыграть и Гамлета, и Хлестакова, и Тарелкина, все лучшие роли сыграть. Не получилось, не стал. Вот и подумал, а почему бы не посмотреть, как в реальной жизни примут Ивана Александровича Хлестакова? Приняли

прекрасно! Что ж, за триумф в течение двух лет я готов платить...

— Вы осквернили самое святое в советском человеке — чувство доверия к ближнему! — перебил его прокурор.

— О, доверчивый лай бессмертных борзых, — грустно сказал Бицепс, — Дук их прости. Больше не стану, господин прокурор, об Иване Александровиче. Не забудьте все же, вынося приговор, что я не грабитель, не шпион, политикой не занимаюсь, так что правильное всего меня оправдать или дать пару лет условно...

Бицепса приговорили за хищение в личных целях государственного имущества (бензин, труд водителей, амортизация автомобилей) на сумму свыше десяти тысяч рублей, за мошенничество и хулиганство к тридцати годам. После суда на улице Филармону Ивановичу вроде бы померещилась поэтесса Лиза, ему даже показалось, что она к нему направилась, и он поскорее пошел прочь, спрятав голову в плечи. Он бы поднял воротник и спрятался бы в него, если бы у этого пальто был такой воротник, который можно было бы поднять, чтобы спрятаться.

Глава 5

Последний факт.

Руководствуясь общими догадками, можно предположить, что роль заключенного не для товарища Бицепса, и потому должен он выйти вновь на сцену жизни. Скорее всего, окажется он при делах, например, внешней торговли, прославится успехами, опираясь на дружбу с царствующими особами, греческими судовладельцами и сенатором Эдвардом Кеннеди. По-видимому, пропасть он может лишь случайно, но случайно пропасть каждый может, так что это не считается.

На следующий день после приговора в квартире Филармона Ивановича раздался телефонный звонок. Он последнее время очень боялся одного звонка, которого ждал, не представляя, что будет говорить, зачем, так легче, однако очень ждал. Поколебавшись, он все-таки снял трубку. Звонила лечащий доктор его отца, она сказала категорически, что завтра того выписывают, в девять пусть заберет.

— Как же? — спросил Филармон Иванович, — курс не кончился.

— Решил главврач, — сказала доктор. — Ваш отец ничем, кроме старости, не болен, а у нас больница, а не дом для престарелых!

— Вылечить бы хоть немного, — сказал Филармон Иванович, на что доктор, понизив голос, возразила сердечно:

— О чем вы? Кого здесь можно вылечить?

Очевидно, кто-то там вышел оттуда, от куда она звонила, но другой кто-то, тоже очевидно, сразу же туда вошел, потому что она громко сказала:

— Значит, ровно в десять.

И повесила трубку.

Однако все вышло не так, как распорядился главврач. Отец узнал о том, что случилось с сыном, потому что был ходячим больным, а в лечебницу привезли лежачего больного, товарища Таганрога, который сразу же позвал Онушкина-старшего и по секрету рассказал ему все, добавив, чтобы тот написал наверх, а он, Таганрог, поправившись, посодействует, поскольку собирался было на пенсию, но больше не собирается, после чего в изнеможении уснул. Отец немедленно сел писать, возбужденно писал весь день, а утром все не просыпался, что никого не обеспокоило, вплоть до прихода Филармона Ивановича, который стал его будить. Отец очнулся не сразу, посмотрел на сына и узнал

его. Пока ходили за доктором, сидевшей на утренней пятиминутке, отец в течение получаса смотрел на сына с узнаванием, ничего не говоря. Наконец он глотнул, провел языком по губам и сказал:

— А ты прости меня. А ты все-таки прости.

После чего коротко кашлянул, неудобно уронил голову и затих. Подросла доктор, Филармона Ивановича выставили в коридор, откуда его медсестра позвала в палату, где его ждал, по ее словам, друг. Товарищ Таганрог с трудом приподнялся на локте и спросил сочувственно:

— Что отец твой? Помер?

По Филармону Ивановичу прошла судорога от волос на макушке, вставших дыбом, до пальцев на ногах, которые скрючило, и он совершил нечто самое для себя неожиданное из всего неожиданного, что он говорил и делал в эти роковые дни, а именно он двумя перстами перекрестил Таганрога, после чего судорога прошла.

— Видел, видел и такое, — сказал Таганрог, откидываясь на подушку. — Это никому не помогало, не поможет и тебе.

Когда Филармон Иванович уходил, гардеробщица вышла за барьер и с необыкновенным уважением подала ему пальто, потому что слух о посетителе, который крестится в этой больнице, уже разнесся среди младших служащих.

Перекрещенный товарищ Таганрог не успел, к своему сожалению, оказать Филармону Ивановичу дальнейшую помощь — к вечеру он умер, что не удивительно, поскольку в его изнуренном испытаниями теле сожрала чуть ли не все, что было можно, та болезнь, даже имени которой люди боятся, как дети темноты.

Письмо Онушкина-старшего наверх было, как оказалось, адресовано вождю, давно уже покойному, так что врачи, посоветовавшись, передали его не по адресу.

Дальше тоже ничего особенного не было. Отца Филармон Иванович хоронил один, если не считать шофера машины и могильщиков. Потом он несколько дней провел дома, где, если не спал и не дремал, лежа, то сидел за столом, читая свои конспекты. Читал так, словно что-то искал и никак не мог найти, откладывал прочитанные тетради, снова брал их и листал наудачу, так что быстро нарушил их разноцветный порядок. Иногда словно что-то находил. Так, в голубой тетради под номером восемьдесят четыре он несколько раз перечитал, заметно вдумываясь, слова: "Как утверждает идеалист Мариенбергер, без этики нет эстетики", но, видимо, это было не то, что он искал, потому что тетрадь номер восемьдесят четыре он вообще бросил на пол. Потом он опять-таки долго думал над словами в оранжевой тетради за номером девятнадцать: "решительно отмечая мистический туман, соединяющий этику и онтологию в эстетике", но и эту тетрадь отложил. Так и не найдя того, что он искал, он связал тетради

в пачки, штук по десять в каждой, и куда-то унес. Никто этих тетрадей больше не видел, так что, возможно, он их где-то просто закопал.

Неизвестно, что было после этого с Филармоном Ивановичем. Там, где посильно описаны жизненные пути очень многих, тоже нет на его счет ясности. Одни сообщения говорят, что он, поработав сторожем на складе верхней одежды, стал изготавливать для цыган фальшивые оренбургские платки из придуманной ими пряжи, секрет которой они никому не выдают, но, скорее всего, из ваты, стеклянного волокна и еще чего-то непонятного; что цыгане его полюбили за придурковатость и высокую выработку и что он разбогател невероятно, так что записался через цыган в очередь на машину и поменял городскую квартиру на пригородный домик с гаражом. Поменять точно поменял, потому что в его квартире раздался-таки телефонный звонок, и из квартиры ответили звонившей женщине грубо, несмотря на то, что говорила она певуче и приятно, что такой тут не проживает, а куда съехал — не знают.

Согласно другим сообщениям, Филармон Иванович уехал к жене в деревню, где они живут почти натуральным хозяйством, гонят самогон из государственного сахара с помощью государственной воды и государственного электричества, жена даже родила от него сына, которого называли не то русско-башкирским, не то русско-татарским именем Руслан.

Третьи сообщения утверждают, что он выучил необыкновенные карточные фокусы, ездит с ними в составе концертной бригады, имеет сумашедший успех и сошелся с руководительницей бригады.

Все эти донесения неправдоподобны и их отказываются признать документами, влествие чего на них на всех в левом верхнем углу поставлен красным карандашом вопросительный знак.

Приятно, что кот Персик, это точно, оказался у поэтессы Лизы, живет в роскоши и даже полностью удовлетворяется обнаруженная им страсть к шоколадным конфетам, страсть в котях очень и очень редкая, хотя коты подвержены страстям порой невероятным. Впрочем, это может быть и другой кот, просто тезка.

Огорчает, что наивысшее начальство Филармона Ивановича, гуманно велевшее его трудоустроить, чем он почему-то не воспользовался, внезапно и без объявления причин было назначено послом в Новую Зеландию, куда вскоре приехал на гастроли некий наш ансамбль, и бывшее наивысшее начальство проявило нездоровый интерес к певице-соотечественнице с высокой грудью и длинными ногами, даже ездило с ней вдвоем и без шофера в дикие новозеландские горы, в чем певица по возвращении отчиталась, а посла отозвали, сняли, из рядов исключили и превратили в заместителя начальника какого-то училища, готовящего профессиональных техников, так что теперь высокая грудь и длинные ноги, кому бы они не принадлежали,

вызывают в демократичном от природы человеке брезгливую улыбку. Воистину, все течет, все изменяется, хотя Филармон Иванович в этих-то переменах уж никак не виноват, и хотя новое наивысшее начальство нашли и поставили немедленно, так что ничто вроде бы и не изменилось, вот только завезенные на склад дубленки для рядового начальства, включая и инструкторов, опять куда-то делись, концов не сыскать.

Неожиданно, что поэтесса Лиза ничьего покровительства больше не ищет, хотя ей и предлагают, а пишет поэму о битве на поле Куликовом к шестисотлетию этого события, поэма называется "Пересветы" и есть в ней две такие строки:

Как в зеркала смотрелись друг другу в щиты
И вместо врага каждый видел свои черты.

Ее старший друг сказал ей, что едва ли щиты того времени могли служить зеркалами и что лучше бы она писала прозу, и поэтесса Лиза с ним впервые в жизни поссорилась навсегда.

Однако в сообщениях не отражен до сих пор тот факт, что Филармона Ивановича видят на спектаклях в разных театрах. Он сидит теперь в задних рядах, ему, как и прежде, до самозабвения нравится все, что представляют, но в отличие от прежнего, он смеется, плачет, переживает, шепчет реплики, подсказывает их актерам, хлопает изо всех сил, однако, как проникает в театры, как исчезает незаметно после спектакля, никто никогда не видел, что и не удивительно, потому что кому он нужен?

**ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ
ДЕРЕВНЯ**

Глава 1

Начало этой песни,

довольно-таки длинной, теряется в веках, но начинается на склоне высокого берега синей реки около этого леса под именно этим небом. Царица-матушка Елизавета Петровна, отменившая смертную казнь и тем зародившая в нашем отечестве интеллигенцию, повелела двум староверам, Михею и Фоме, здесь поселиться, и они поселились, срубили себе избы, завели жен и детей, дети их размножились, поля расширились, стада выросли. А над всем этим заведением, размножением, расширением и ростом двигалась история по своим железным законам, так что жители сначала были крепостными и земли не имели, потом стали свободными, однако с землей было по-прежнему плохо, потом стали еще более свободными и получили земли в изобилии, после чего они достигли вершины исторического развития и по сей день пребывают в колхозах. Но не про историю тут речь. Сначала про корову.

Корова жрет чертополох нежными губами, мудро давая молоко для народа.

Корова похожа на деревню.

Ее величество корова сидела веками за прялкой, стояла пожизненно под ружьем от Полтавы до Шипки, только корона у коровы не на голове, а на животе и называется вымя.

У деревни корона тоже на животе.

Из труб городских не льется молоко, никакое заседание не даст сметаны, и жрать на асфальте корове нечего.

Корове вообще грустно, а тем более на асфальте.

Назвать женщину коровой — высшая похвала, но не в нашей стране, а в Индии. Потому что там у мужчин независимый темперамент.

— Мы имеем вымпел на Луне, а покоса там нет — грунт не тот, — объяснил соседу Постановов, когда они думали вслух о жизни на других планетах.

— Совершенная целина там, надо представлять — размышлял сосед.

— Богатая целина, — сказал Постановов. — Начальство все предвидит.

— И не говори, — громко подумал сосед. — Вот опять, значит, корову иметь разрешили. Если что запретят, то потом обязательно разрешат, как же иначе.

— Терпеть не могу, когда человек суетится, — сказал Постановов. — Глаза вытаращит, руки-ноги дергаются, сплошной политик. Не человек, а жужелица получается.

— Почему это я жужелица? — обиделся сосед вслух.

— А кто же? — спросил Постановов. — Тут все продумать надо, а ты ”корова! корова!”

— А что тут думать, — сказал сосед. — Корова она и есть корова.

— Начальство все предвидит, — сказал Постановов.

— Я уже привык, что предвидит, — снова обиделся сосед.

— Вот и не суетись со своей коровой, — сказал Постановов.

— Нет у меня никакой коровы! — рассердился сосед. — Тридцать лет уже не имею никакой коровы!

— Твоя корова за тридцать лет знаешь сколько хлеба съела бы? — сказал Постановов. — А мы травой кормимся? Нет, не люблю я, когда человек суетится, не по плану живет.

— Почему это не по плану? — спросил сосед.

— А как же, — сказал Постановов. — Вот через десять лет ты что, например, будешь делать?

— Это невозможно сказать, — сказал сосед.

— Вот и не имеешь плана, — развел руками Постановов. — Так что зачем тебе корова?

— Какая корова? — спросил сосед.

— Вот которой нет у тебя, — сказал Постановов.

— Ни к чему мне корова, которой у меня нет, — сказал сосед.

— Вот и не пускайся на хитрости, — сказал Постановов. — Спокойно живи.

— Я уже привык спокойно жить, — сказал сосед.

Если подумать, в чем она, главная правда этой исторически сложившейся деревни, то тут она вся и есть в словах соседа, тихо сидящего рядом с Постанововым на лавочке у забора и повернувшего к закату солнцу дубленое лицо, поросшее твердой седой щетиной. Эта правда незамысловатая какая-то, даже ерундовая, в сущности плевая, но однако главная, потому что течет река, зеленеет земля весной, неторопливо идут дожди над полями, неторопливо идут люди на поля, неторопливо идут годы сквозь деревню, как странники, что брели когда-то через деревню на поклонение святым местам, не находя здесь, чему поклоняться.

Глава 2

Коромысло

— Ничто так не выбивает меня из седла равновесия, как коромысло, — сказал Михеев, — возбуждая меня нестерпимо.

— Оно, конечно, ни на что такое не похоже, что может возбуждать, отнюдь, и не воображайте, форма его невинна и материал его невинен, а вот, возбуждает.

— Как увижу коромысло, так хоть караул кричи. Но если закричать караул, то это будет в возбужденном состоянии ужасно глупо.

— Я мог бы объяснить, что на коромысле носят ведра, в ведрах носят воду, вода в них тяжелая, коромысло давит на плечи, плечи напрягаются, давят на спину, спина выгибается, давит на зад, зад выпячивается, давит на ноги, ноги выпрямляются, бедра напрягаются, а воду в ведрах на коромысле носят только бабы, а бабы бывают в деревне не только старые, попадают и молодые, особенно раньше, когда нынешние старые бабы были молодыми и их было, естественно, гораздо больше, то есть молодых, которые теперь старые, потому что старых теперь больше, чем молодых, поэтому тогда молодых было больше, чем теперь молодых, и они больше носили воды на коромыслах, и плечи напрягались, спины выгибались, зад выпячивались, ноги выпрямлялись, но видишь, какое длинное получается объяснение, а я еще далеко не добрался до самого главного, а именно, что происходит со мной, когда я вижу коромысло и знаю, что на коромысле носят ведра, в ведрах носят воду, вода в ведрах тяжелая, коромысло давит на плечи и происходит вот все то, что я мог бы объяснить, но не стану, потому что это надо было бы рассказывать всю жизнь, столько тут подробностей. А суть дела в том, что коромысло не потому так выводит меня из себя, что там вода тяжелая и так далее, а потому что его часто носила на плечах и так далее вот та Полина, про платье и рубашку которой, украденные мной во время ее купания в реке, я еще расскажу, как только распутаясь с коромыслом. Она нырнула, я выскочил из кустов, схватил рубашку и платье, сбегал к иве, спрятал рубашку и платье в дупло и снова засел в кустах, а она вылезла из воды, искала-искала, я не выдержал и фыркнул в кустах, она бултых обратно, но это после, сначала кончу про коромысло.

— Она идет с коромыслом, на коромысле ведра, в ведрах вода,

вода тяжелая, это я уже рассказывал. Она идет, а я иду в двух шагах сзади и неторопливо ей объясняю, потому что зачем торопиться, куда она убежит с коромыслом и полными ведрами, неторопливо объясняю, как я ее сильно люблю и какая у нас может быть сильная любовь, и какие у нас пойдут сильные дети, а у наших детей какие будут замечательно сильные внуки, а она пытается обернуться, чтобы мне неприятно сказать или хоть глазами на меня сверкнуть, но куда же там обернуться, когда коромысло тяжелое на шее и голову не особенно-то повернешь, а когда она пытается целиком вся обернуться, то пока она со своими ведрами разворачивается, я вполне успеваю прибавить шаг и разворачиваться вслед за ней, так что сколько она не вращается, я вполне успеваю вращаться за ее выгнутой спиной и говорить ей, что ты поворачайся, мне это нравится, потому что, во-первых, внимание мне этим оказываешь, а главное, во-вторых, подольше меня слушаешь и лучше проникнешься ко мне чувством любви, из-за которой я унес твоё платье и рубашку тогда, вовсе не из-за хулиганства, а чтобы иметь возможность с тобой подольше поговорить, потому что ты мне этой возможности не давала, пока я не спрятал решительно твоё платье и рубашку в дупло, и тогда мы имели с тобой обстоятельную беседу, потому что тебе из воды деваться было некуда, а уплыть от платья и рубашки ты тоже не могла, и поэтому голова твоя из воды торчала и хочешь не хочешь на меня глядела и внимательно слушала. Поворачиваемся, поворачиваемся, а потом она идет дальше, потому что ей надо нести воду и очень долго она вращаться не может, утомляется, и она идет дальше, и лягнуть меня у нее тоже не получается, потому что вода в ведрах тяжелая и ноги выпрямляются, и на одной ноге тут не поскачешь ни при каком здоровье, так что она только чуть-чуть брыкнет ногой и поскорее ставит ее на место, чтобы целиком не упасть.

Вот так я ходил за Полиной и по пыльной дороге, и после дождя, и не могу теперь спокойно видеть коромысло, посмотрю на него и будто огонь проглочу — сначала во рту горячо и высыхает, потом в горле жечь начинает, потом сердце вспыхивает, потом уже весь горю. И опасен я стал для деревни и вреден для народа, потому что не владею собой при виде коромысла и весь горю. Вот из-за этого коромысла жизнь у меня стала отвратительная, что-то делать надо, невозможно мне, чтобы так продолжалось.

Глава 3

Река, в которой купалась Полина

Правый берег был пологий, как и полагается, а левый был крутой и в нем стрижи рыли норы под гнезда — можно засунуть руку по локоть, а до гнезда не дотянуться, как не дотянуться до луны, золотющей в реке по вечерам, когда из садов, темных, как омут, доносятся песни любовного содержания, а река течет, занятая своим делом, и ей некогда любить деревню больше, чем она ее любит, нет у нее для большой любви досуга, и я купаюсь в этой пробегающей мимо реке, и она любит меня прохладно и нежно, ласкает мне шею, живот и щиколотки, любя меня в ту меру, которая мне соразмерна, а я невелика и в реке и вообще.

А Михеев думает что? Что я на свете самое главное, и поэтому он для меня человек недостойный и ограниченный, а он даже в армию идти не хочет, пока на мне не женится, а он скоро будет призывник и ему надо идти в армию, и мне его жаль немного, но только не до слез, хотя у меня лицо и мокрое, но это от реки.

Я теперь от него спряталась и одежду спрятала, чтобы он не нашел, и интересно, где-то он меня сейчас ищет, где-то он сейчас бегаёт?

— Я здесь, — хмуро говорю я с берега. — Где мне быть. Ты, конечно, спряталась надежно и одежду свою спрятала надежно, только от меня не спрячешься, и я вот сижу на твоей одежде и жду тебя, чтобы с тобой про любовь разговаривать, потому что я хотел раньше в армию идти, отслужить свое, а вот теперь даже совсем не хочу и уклонюсь от призыва, хоть в тюрьму, хоть что угодно, не могу я от тебя уйти, пусть расстреливают.

Ну, что мне с ним делать? Река больше не обращает на меня нужного внимания, и мне его жалко до слез, недостойного, что его расстреляют, и такое зло меня берет, что я его сама бы сейчас расстреляла, и не могу я этого переносить, и я выхожу из реки, чтоб ты сдох, проклятый, на, подавись.

— Полина, — говорю я. — Ты пойми меня правильно, Полина.

— Не могу я понять тебя правильно, — говорю я и плачу, и трясет меня от слез и от злости, и я прижимаюсь к нему, чтобы не дрожать.

Река бежит, шуршит, журчит своей дорогой, не поднимая на нас глаза, и я обнимаю его, а я обнимаю ее, и я говорю ей шепотом, а я плачу ему шепотом, и ох уж этот Михеев и ох уж эта Полина и ох уже эта река.

Глава 4

В поле под жарким солнцем

Бабы пололи картошку в поле, рассыпавшись цепью, и самая старая баба Фима шла самая первая, как Чапаев перед бойцами, только не с шашкой, а с сапкой, а полоть надо уметь наклоняться, не скрючиваясь, а свободно, чтобы дышать, согнувшись пополам, всей душой, хотя живот и сложен пополам и подпирает грудь и полностью вздохнуть мешает. И сапки падают и поднимаются, падают и поднимаются разнообразно, вразнобой, и только тогда получается такое совпадение, что как бы разом, а потом снова не разом.

А мужчины стояли у трактора с комбайном и обсуждали, что такое, что не едет, только тракторист не обсуждал, погрузившись в мотор, одни подметки торчали.

А солнце жарило немилосердно и картофельное поле, и пыльную дорогу, и пахнувший железом и смазкой мотор, и желтое пшеничное поле, и деревню вдаль, и капельку пота на носу бригадира.

— Не заведет, — сказал бригадир сосредоточенно. — Давайте еще толкнем, что ли.

— Так уж толкали, — сказал одноглазый Фомин.

— Можно и еще толкнуть, — сказал другой Фомин.

Бабы кончили ряд, распрямились, вытерли лица, погалдели чуть-чуть, развернулись кругом, снова наклонились и цепью пошли назад, то есть вперед, но в противоположном направлении.

Глава 5

Огородное пугало

Луна светила ему под козырек в первобытные глаза, а вокруг него качали черными головами подсолнухи.

Сонно мычала корова у себя дома где-то рядом, плескалась рыба в реке, и круги плыли по воде со скоростью течения.

— С Полиной был? — спросило пугало.

— Да, — сказал Михеев. — Замуж она не хочет за меня. Своевольничает. Говорит, любить тебя люблю, что тебе еще, хулигану, надо. А замуж это будет слишком. Полную власть надо мной заберешь себе в голову, а я этого не вытерплю, удавлюсь. Я говорю, где же полная власть, если я так люблю, а она говорит, вот именно поэтому, что же от меня останется, если я не только любить, а еще и женой стану. Ничего не останется. Я говорю, все так делают, что женятся, это ничего, не страшно, иначе мы не выдержим днем работать, а по ночам разговаривать, а она говорит, можем не разговаривать, а я говорю, как же мы договоримся, если не будем разговаривать, а она мне говорит, не о чем мне с тобой договариваться, как не о чем, говорю, если надо о женитьбе договариваться, потому что ты храпеть будешь и мне скучно будет, что ты спишь, а я не сплю, ну ты тоже спи тогда, говорю, вот, говорит, уж и забираешь полную власть надо мной — ты спи, и я спи, а я, может, не захочу, да и не буду спать, говорю, а зачем тогда жениться, говорит, какая разница, говорит, и так не спим и тогда спать не будем, но не выдержим говорю, днем работать, а по ночам разговаривать, а она говорит, если сейчас не выдержим, то и тогда не выдержим, какой же смысл жениться, если все равно не выдержим, а я говорю, все женятся и выдерживают, а она говорит, ты совсем запутался и не соображаешь, что говоришь, а я говорю, нет, не запутался — я говорю, все женятся и выдерживают, значит, и мы выдержим, а она говорит, наверно, они любить друг друга перестают, а я этого не вытерплю, что ты любить меня перестанешь, и удавлюсь, что ты говоришь, я говорю, что никогда не перестану, потому что ты лучше всех и мне никого, кроме тебя, не надо, нет, говорит, это ты говоришь, чтобы меня уговорить, а когда уговоришь, тогда другое будешь говорить, никогда не буду, я говорю, другого говорить, а она говорит, ага, значит, спать будешь, а я не буду спать, и мне будет скучно, не

пойду я за тебя замуж. Так и разговариваем всю ночь, буксуем на одном месте — иди за меня замуж, не пойду за тебя замуж, становись моей женой, не стану твоей женой, не выдержим ведь, а все равно не выдержим, все женятся, а ты сказал, что я лучше всех, но даже самые лучшие женятся, ну и что, а я не хочу. Своевольничает. А зима придет, где тогда будем встречаться? Где хочешь, говорит. Я в тепле хочу, говорю, а ты ненормальная какая-то, все хотят жениться, а ты не хочешь. Не представляю, говорит, кто это с тобой жениться хочет, просто не могу себе такую дуру вообразить, может, сумашедшая какая-нибудь. Нет, говорю, вполне нормальные хотят. Вот и женись, говорит, на нормальных своих, если я ненормальная. Да нет, говорю, ты только в одном этом ненормальная, а в остальном лучше всех самых нормальных. Чем это я лучше всех, говорит, что это ты заладил, объясни, пожалуйста. А я говорю, что это трудно тебе объяснить, потому что слов я таких не знаю, учился мало. Ну, так ты пойдди поучись, говорит, на что ты мне неуч в мужья сдался. Вот так всю ночь и разговариваем. Утомляемся даже.

— Интересно, — сказала пугало, — чем это она, действительно, лучше всех?

— Про это я и думаю, — сказал Михеев, — и спать не иду, хоть все суставы у меня стонут, спать хотят, а я не иду, стою и с тобой вслух думаю, потому что завтра ночью нужно это ей обязательно объяснить, очень она этим заинтересована, а мне про себя просто, а сказать не умею, одним словом, иди за меня замуж, говорю, а она говорит, не пойду, а дальше ты уже знаешь, я тебе рассказывал.

— На одном месте стоите, — сказала пугало. — Совсем как я.

— Однако не скучно, — возразил Михеев.

— Конечно, — сказала пугало. — Это дураку на одном месте скучно, а умному не бывает.

— Где там на одном месте, — сказал Михеев. — Вчера за реку уходили, а сегодня в подсолнухах, а зима придет, тогда что? Дома у меня тетки, хоть и не старые, а чутко спят, а у нее дома мать, где нам с ней зимой схорониться? Да и осенью тоже дожди бывают.

— Ко мне в сарай идите, — сказала пугало. — Там за мешками место расчистить можно, как в бомбоубежище будете, уютно устроитесь.

— Она тебя стесняться будет, — сказал Михеев. — Она все время чего-нибудь стесняется, а ты слишком наблюдать умеешь.

— Я спать буду, — сказала пугало. — Я с осени до весны крепко сплю.

— А сны видишь? — спросил Михеев.

— Вижу, — сказала пугало. — Очень содержательные сны у меня. Как-нибудь расскажу, а сейчас ты иди, свои собственные смотри, а то петухи скоро запоют, птицы проснутся, мне за огородом надо будет смотреть.

Глава 6

У дремучего деда под ухом гремит земля

Вот автор рассказывает вам про эту самую, на его доброжелательный взгляд, абсолютно счастливую деревню, а до сих пор не сообщил, ни где она точно расположена, ни как она выглядит в целом.

Где она точно расположена, автор вам не скажет. Ни за что. В России — и этого хватит. Сдохнет, а точнее ничего не скажет. У него есть на то свои соображения. И первое из этих соображений — не хочет он, чтобы можно было его проверить. Сейчас ведь эпоха для выдумщиков ужасно плохая. Да нет, автор ничего такого и в мыслях не имел — при чем тут арестуют или не арестуют? Вот напасть — как интеллигентный человек, так прямо визжит от удовольствия, едва ему где намек на арестуют покажется. Нашел, чему радоваться.

А автор без всякого политического намека заявляет: эпоха сейчас для выдумщиков хреновая, и совсем не потому, что посадят, вот уже двенадцать лет, как почти никого не сажают, а если и сажают, то такую каплю в море, что даже по теории вероятности нас-то с вами не посадят, не говоря уже, что и не за что. И все равно эпоха для выдумщиков паршивая. Потому что все всё и во всем хотят проверить. И на каком молоке они обожглись, неизвестно, но всю дуют на всевозможную воду. И попрутся проверять автора — а точно ли изобразил, буква ли в букву, точка ли в точку, а автору это будет неприятно, потому что придется таким людям неприятности говорить, обижать их, убеждать, что никакой одинаковой для них и для автора деревни не может быть в природе, только моя деревня есть, а их деревни нет, и глупо меня проверять, а они тоже ведь не идиоты, подумают и что-нибудь обидное мне придумают, например, что я пишу ну совершенно похоже на Франческо Мачадо. "А кто это такой?" — спрошу я, недоумевая, и тут-то в этой нашей полемике потерплю бесповоротное поражение, так как обнаружу, помимо несамостоятельности, еще и невежество, непростительное для русского человека, потому что русский патриот должен знать Франческо Мачадо, иначе он в глазах многих не патриот, а шовинист. Поди потом доказывай, что ты ничего лично против этого Франческо не имеешь и с удовольствием с его творчеством познакомишься, только сейчас тебе не до него, тебя сейчас вот эта деревня волнует. Ага, скажут, тебя свой народ интересуется, а другие

народы не интересуют, значит? Своя деревня тебя волнует, а на другие деревни всей земли тебе наплевать? И попадешь из-за Франческо в шовинисты, и пропадешь в шовинистах, а все и вины-то на тебе, что вот эта деревня тебя волнует. Так зачем автору это бесповоротное поражение в полемике? Не скажет, где его деревня и все тут.

А как она выглядит в целом со стороны, можно рассказать с удовольствием. Представьте себе синюю-синюю речку, левый берег ее высокий, овражистый и холмистый, и на этом берегу устроилась деревня под синим-синим небом. И вот если в лодке уплыть вниз по синей-синей реке до края деревни и смотреть оттуда, то на околице виден редкостный дом, даже не то чтобы дом, а своего рода удивительное строение, о которое сразу спотыкается взгляд, едва только начнешь смотреть на деревню. Строение это срублено из бревен метра по три длиной каждое, в одной стене выпилена дверь, в другой небольшое отверстие, забитое досками и заткнутое ветошью, крыша у строения много прогибалась, проламывалась, продавливалась, пока не продавилась до уже не веки нерушимого положения, покрылась наносной землей, а на земле начали жить мхи, травы, цветы и невысокая береза. Это странное жилищеросло в песчаную почву по самое окно, так что только шесть венцов торчат из бурьяна, а когда этот дом здесь возник, того не помнил уже никто на свете, однако уже во время нашествий наполеоновских полчищ на Россию он был тут как тут.

В этом срубе с незапамятных времен жил дремучий дед, жил как бы в стороне от всеобщей жизни, на околице, неизвестно почему ни во что не включаясь, скорее всего от старости, хотя был вполне ходячий, никаких болезней не знал, глаза имел черные, зубов в избытке и даже не кряхтел, копая на небольшом своем огорожке картошку. Но вот не включался, покупая соль и спички раз в месяц в магазине, но в разговоры не вступая.

В этот вечер, когда солнце только что село и над деревней небо слегка зеленело в предчувствии луны и поднималось все выше, чтобы скорее стать выше звезд и обнажить их, Полина вышла из дому и пошла к дремучему деду, неся гостинцы в узелке. Она шла босыми ногами по нежной земле и еще более нежной траве, шла задумчиво, не хорянясь, да и бесполезно, потому что не было еще темноты.

Была середина июня, та замечательная середина того июня, который потом так замечательно обманул всех обитателей деревни, загремев над их головами исторической грозой, бессмысленной с точки зрения нежной травы, синей-синей реки и окна, забитого досками и заткнутого ветошью. И долго-долго потом ученые люди постигали причины и следствия, спорили и даже ругались, ссорясь на тему, кто виноват, почему это все так неудачно получилось, и как бы придумать, чтобы такого никогда больше не получалось, но все это было много потом, а сейчас Полина шла босыми ногами к дремучему деду, и вот

первая звезда стала ниже неба, и с реки донеслось кваканье лягушек, и тупо промычала, словно зевнула, корова в сарае у дороги, промычала просто так, совершенно бессмысленно промычала, зато безвредно, и бабка Егорова, коровина хозяйка, чутко дремавшая, встрепенулась духом, вспомнила еще раз все про корову и поняла, это корова промычала просто так, беспричинно, потому что и сыта была, и напоена, и пальцы Егоровны помнили скользкое вымя, а глаза помнили алую кровинку, вышедшую вместе с молоком из переполненного вымени, и молоко Егоровна процеживала дважды, а дел еще было много — и луку нарвать на продажу, и трех внучек с дедом Егором накормить, а старшую еще поругать, чтобы не загуливалась поздно, мала еще. И встрепенувшись от мычания, Егоровна все это вспомнила, но успокоиться и сразу уснуть снова не смогла, потому еще вспомнила сына и невестку — как пятнадцать лет назад отделились они, стали наживать свое добро, а потом это добро у них отняли и ее Андрея и Клаву переселили так далеко, где не росло ничего, и дочерей они прислали назад, сперва писали, затем перестали, бабка над письмами плакала, едва только почтальона увидит, и еще потом много раз, перечитывая, а теперь и плакать стало не над чем, над старыми письмами слезы больше не лились.

Полина шла по нежной траве, уже росистой, и луна освещала ее и всю деревню, и жилище деда.

Дед лежал не лавке, дремуче и вечно лежал, приложив ухо к стене и слушая далекие гулы земли. Земля рассказала ему о шагах к его дому, он сел на лавке, засветил керосиновую лампу и стал глядеть на дверь, положив руки на колени.

В его ясной голове легко и просто жили простые мысли, похожие на корни деревьев, отнюдь не запутанные, потому что нет ничего в корнях запутанного, запутывается в них только невежественный человек, а дерево в них не запутывается, оно не дурак, дерево, чтобы запутываться. Оно пускает корни со смыслом, на нужную глубину и вширь по потребности, а у деда потребности были шириной во всю нашу планету, а вглубь вплоть до самого Бога, в которого он, однако, совершенно перестал давно уже верить, не обнаруживая его своими чувствами, так что вплоть до, но не дальше.

Полина стукнула в дверь и вошла, наклонившись. Андрея и Клаву переселили так далеко, где не росло ничего, и дочерей они отослали оттуда, сперва писали, потом перестали, но продолжали жить, хотя вокруг ничего не росло, но все-таки человек живуч, если он не опускает руки. Вокруг них был непонятный народ, однако не злой, говоривший слова вроде мегедббармодьеры, однако не злой. Андрея и Клаву нельзя забывать, хотя они никогда не увидят своей абсолютно счастливой деревни, ни дочерей — Веры, Надежды и Любви, Верка старшая, четырнадцати лет.

— Дед, мне совет нужен твой, — сказала Полина, кладя гостинцы на стол, а дед посмотрел на них сквозь платок, в который были завязаны гостинцы, мудро все распознал — яички, хлеб, бутылку молока и медовые соты — и понял, что совет от него требуется серьезный. Он посмотрел на Полину сквозь ее нехитрую одежду и подумал о ней прямыми своими мыслями, все ее серьезности постиг и сказал:

— Землю я слушаю, внучка. Гремит земля уже целый месяц, понимаешь?

Далеко от абсолютно счастливой деревни под городом Магдебургом человек по имени Франц вышел в этот час из кирпичного дома, крытого красной черепицей, а белобрысая жена и белобрысые дети провожали его мимо других аккуратных домов, мимо аккуратной силосной башни, мимо квадратов красиво возделанной земли к поезду, и посадили в этот поезд, и он уехал. И его тоже надо запомнить, потому что он имеет непосредственное отношение к разговору деда с Полиной, точнее, к последствиям этого непосредственного разговора.

— Не понимаю, — сказал Полина. — Ты меня послушай дед, мне совет нужен, а земля гремит — пускай гремит, это мне сейчас совсем не интересно.

Дед улыбнулся ее несознательности и несмышленности, теплой такой глупости чересчур молодого тела и сказал:

— Я тебе уже все сказал внучка, что земля гремит. Это и есть для тебя сейчас в твоем положении самое интересное.

— Старый ты, — сказала Полина, сердясь. — Слушать уже не можешь, что ли?

— Слушать могу, — сказал дед и приготовился слушать то, что уже знал.

— Вот и слушай меня, не перебивай, — сказала Полина. — В положении я, а Михеев рад, говорит, что теперь женой моей не сможешь не быть, а я не хочу и рожать не хочу. Помоги мне дед, я избавиться не могу, скажи траву какую-нибудь, ты все ведь знаешь. А Михеев смеется, говорит нет на свете такой травы, чтобы оказалась сильнее меня и моей любви с ее результатами, потому что я тебя сильно люблю, и я сильный, и ты сильная, и дети у нас будут сильные, а это только начало, первенец, а я говорю, я сама тебя люблю, но замуж за тебя не пойду, ты всю власть хочешь надо мной забрать, и первенца не хочу, он весь в тебя будет, а с меня и тебя хватит, на что мне еще один такой сдался, а он говорит, не только один, еще целая куча мала будет, а я говорю, ты с ума сошел, на что мне столько михеевых, а он говорит, это ты только сейчас так говоришь, а потом будешь другое говорить, их у нас штук десять будет самое меньшее, потому что мы с тобой молодые, и все десять будут очень красивые, все сплошь мальчишки и все сплошь Михеевы, богатыри, представляешь? Представляю, говорю, и тошно мне от этого представления. Это тебе от беременности

тошно, он говорит, а потом приятно будет, и не можешь ты без мужа родить, мать твоя огорчится, а ты у нее одна, и без отца она тебя вырастила, она от огорчения заболеть может, и даже гораздо хуже, а избавиться у тебя не выйдет, это на свете такого зелья нет, чтобы после такой любви помогло. Вот и скажи мне, дед, это зелье, ты все видел и знаешь, даже Наполеона, говорят, видел, неужели не поможешь?

— Видел Наполеона, — сказал дед. — Мальчишкой еще был, а он на черном коне ехал — страшный, огромный, с пушкой в руках. Давно это было, внушка.

— А в кино он небольшой, — сказала Полина.

— Это если издали смотреть, — сказал дед. — А я вблизи видел, вот как тебя. Ужасный был человек. Не надо тебе избавляться, земля гремит уже целый месяц.

— А мне-то что? — спросила Полина. — Земля у тебя гремит, а я должна из-за этого Михеева рожать и женой Михееву становиться, что ли?

— Несмышленьш ты, — сказал дед. — Не соображаешь. Земля почему у меня под ухом гремит? Поезда идут. Много гремит — значит, много тяжелых поездов идет. В одном направлении идут, заметь. Газеты ты, что ли, не читаешь? Про немцев, что ли, не слыхала? А я немцев знаю, вот как тебя их видел. Поезда идут, значит, войска везут, значит, война будет, значит, заберут твоего Михеева воевать, значит, убить могут, и останешься ты без Михеева, если этого не родишь, которого носишь. Теперь поняла, почему не про зелье ты думать должна, коли земля гремит? Напортила-то много себе?

— Нет, — сказала Полина.

— Что пробовала? — спросил дед.

— Будто не знаешь, — сказала Полина. — Спорынью, липовый цвет, можжевельник...

— Ну, это пустяки, — сказал дед. — Это ребенку как с гуся вода.

— Дед, а почему его убить могут? — спросила Полина. — Ведь это не обязательно?

— Не обязательно, — сказал дед. — Однако возможно. А ты нового Михеева родишь.

— Дед, как это он так устроился, что взял-таки верх надо мной? — спросила Полина. — И любить я его должна, и замуж за него идти должна, и первенца ему родить должна, и сердцем за него болеть должна, и плачу из-за него, проклятого, как подумаю, что убьют. Дед, почему это так, почему я плачу?

— Никто этого знать не может, — сказал дед. — Однако это так бывает.

— А не так тоже бывает? — спросила Полина.

— Бывает и не так, — сказал дед.

— Может быть, дед, ты все это наошибался? — спросила Полина.

— И про войну, и про поезда? Может, мне лучше и дальше по-своему поступать, а об этом ни об чем не думать?

— Нет, — сказал дед. — Я не нашибался. Нельзя тебе об этом не думать. Железная дорога от нас близко, нельзя ошибиться. И газету я читаю. Так что в центр событий проникать могу. А в центре событий все видно хорошо, там сложного нет.

— Ты видишь, а никто кроме тебя не видит? — спросила Полина.

— Видят, но не замечают, — сказал дед. — Легче им не замечать. Они по краям глядят, главное упускают. От молодости это, от неразумения.

— Пойду я, — вздохнула Полина. — Ждет он меня, проклятый.

Никогда я не думал, — думал Михеев, — что бывает она такая смиренная и послушная без всяких на то оснований. Вот обнимаю ее, а она прижимается без слов, вот спрашиваю, будет ли первенца рожать, а она еще крепче прижимается; спрашиваю, пойдет ли замуж за меня, а она еще крепче прижимается и головой в плечо кивает утвердительно, только почему у меня по коже слеза ее течет, непонятно.

— Ты почему плачешь? — спросил у меня Михеев.

— Не хочу, чтобы тебя убили, — сказала я.

Глава 7

Колодец с журавлем

Колодец с журавлем — это я, и мне дают отдохнуть только ночью, а днем нужно скрипеть и ворчать, наклоняться и выпрямляться, и слушать бабы сплетни. Многие думают, что мне видно звезды, а это не так, звезды я вижу только ночью, когда все видят, а днем мне достаются бабы сплетни, так что я всех в деревне знаю еще до того как они родятся, а потом и подавно. И все, что делается в мире, тоже знаю, не то что вон то огородное пугало, с которым только Михеев и разговаривает, вон там, за тополем, по ночам разговаривает, словно что-то это пугало знать и постигнуть может, просто Михееву по дороге, а зря не со мной, я бы мог ему рассказать про него, он и сам не знает что, а частью просто не помнит. Вот живет он с двумя трудолюбивыми тетками, в незаужестве вырастившими его до совершеннолетия, а отца и мать где ему помнить, если умерли они до того, как он помнить научился. А две веселые тетки бодро его выходили и любили, как сына, потому что все сестры дружно любили когда-то его отца, но только младшей он достался весь, как был — в буденовке с красной звездой, в шинели внакидку, с чубом вниз до бравой брови, а вверх до красной звезды, веселый и грамотный, однако страшный драчун и забияка, на весь мир забияка, хотя и умел работать. Бабы мои в сплетнях своих говорили, что не только младшей он достался, на всех сестер его хватало, но это, по-моему, они так на всякий случай говорят, чтобы если что было, чтобы в дураках не остаться, бабы не любят оставаться в дураках, потому все возможности предусматривают, оттого никогда в лучшую сторону не ошибаются, только в худшую, лучше чем есть, не скажут, из-за этого у меня, наверное, и характер такой недоверчивый и даже скептический, поскольку бабы все плохие возможности предусматривают, что и называется сплетни, а скептик это тот же сплетник, поскольку тоже ничего хорошего не предусматривает, но только не снисходит до подробностей, а я так думаю, что это не страшно, пока это быт, а вот если уже не быт, то это страшнее зубастого черепа, закопанного рядом с моим срубом, глубоко в земле его закопали задолго до того, как меня выкопали. Быт или не быт — вот в чем тут дело, если взять хотя бы звезды, которые я, честное слово, не вижу днем, а скептик скажет, что ничего на них особенного нет, в лучшем случае мох и лишайник, причем серого

цвета, и во всей вселенной только и есть, что мох и лишайник, и то вряд ли, сколько ни лети со скоростью света во все стороны, то это страшнее черепа, который был когда-то головой, может быть, татарина, или русского воина, а может, и неизвестно чьей, потому что тогда только у нас здесь на земле и есть зеленые травы и деревья, синие подснежники весной и красные маки летом и только у нас и можно всматриваться в узор на крыле бабочки, на листке тополя, на пне, на лице человека, и вся вселенная с ее серыми мхами и лишайниками держится, выходит, на этом крыле бабочки, которым любят горожане, или, что одно и то же, на нашей абсолютно счастливой деревне, а это так печально, что во мне была бы не ключевая вода, а чистые слезы если бы звездные скептики были бы правы. Но они ошибаются и именно в худшую сторону, как ошибались, по-моему, бабы насчет сестер, будто они владели Михеевым-старшим сообща, что неправда, две его любили, а владела его душой и телом только третья, хотя он и был человек очень кровеносный и с должной широтой легкомыслия, а вот сын его широту имел совсем другого свойства и на субботу назначил свадьбу, предварительно записавшись с Полиной, на это она согласилась, а на свадьбу ни за что на соглашалась, долго они около меня стояли и друг другу противоречили.

— Какая же свадьба, если мне через пять месяцев рожать, — говорила Полина.

— Но разве можно без свадьбы, — говорил Михеев, — ведь потом всю жизнь каждый год мы будем вспоминать, что свадьбы у нас именно в этот день не было, и огорчаться с каждым годом все сильнее, а нам сколько лет еще жить, и много у нас накопится огорчения за эти годы, а зачем нам его копить, и первенец будет в обиде на нас, что мы из-за него такую глупость сделали, свадьбу не сыграли, хотя он еще совершенно незаметен, и он будет с каждым годом все умнее, а мы ему будем казаться все глупее, что из-за ерунды такой от свадьбы отказались.

— Ну, какая же свадьба, если мне белое платье неудобно надеть, — говорила Полина.

— А ты и не надевай, — говорил Михеев, — или надень, но, например, с этим красным поясом, потому что это никого не касается, что мы уже любим друг друга, а что ты раньше за меня замуж не соглашалась, так это твое глубоко личное дело, и пусть кто-нибудь попробует сказать что-нибудь или даже посмотреть, я ему не посмотрю, что свадьба, я ему такую свадьбу покажу, чтобы он в твои дела не совался, а занимался бы своими делами, их у него хватает; и пусть на себя смотрит как желает, а на тебя я ему покажу, я ему каждый год в этот день буду показывать, он у меня набегаются по донорам и дантистам, он у меня совсем из деревни убежит, но я его везде в этот день найду, пусть не надеется, так что не бойся, надевай, что хочешь.

— Ну какая же свадьба, если ты на ней такие ужасы устраивать будешь, — говорила Полина. — Мне такая свадьба ни к чему, чтобы ты на ней гостей, а может быть, даже родственников моих вот так сокрушал, как собираешься.

— Не только твоих, но и моих родственников, — говорил Михеев, — не пощажу, но до этого, я уверен, не дойдет, потому что, во-первых, тебя все любят, а во-вторых, меня все знают и отца моего в этом смысле тоже все знали, и первенца нашего тоже в этом смысле знать будут, так что мы тебя в обиду не дадим, не бойся, надевай, что тебе захочется, тебе даже такая сплетница, как баба Фима, и та любит и бережет, спокойно можно свадьбу играть.

Я усмехнулся, когда вспомнил бабу Фиму, маленькую и сухонькую, но с головой архангела Гавриила, потому что именно она, это не знал Михеев, ошибалась насчет его теток в худшую сторону, а я помню только один разговор между матерью Михеева и самой старшей из сестер, давно-давно на этом же месте они стояли, что и эти стоят, короткий был у них разговор, но неясный, и никто его, кроме меня, не слышал, и хорошо, не то баба Фима из этих неясностей выводы сделала бы непременно в свою худшую пользу. А разговор был вот такой:

— Отвяжись! — говорила младшая сестра.

— Возьми их себе, я тебя прошу, — говорила старшая.

— Отстань! — говорила младшая.

— Надеть их я все равно не могу, разговоры пойдут, — говорила старшая.

— А мне-то что! — говорила младшая.

— Я их тогда просто выброшу, вот хоть в колодец выброшу, — говорила старшая.

— Бросай! — говорила младшая. — А не то давай, я сама брошу.

И бросила. Так и лежат во мне эти бусы из настоящего жемчуга, а как они попали к отцу Михеева в грозные годы гражданской войны — силой, или подарком, или случайно где подобрал, про то они молчат, потому что захлебнулись, утонув, и глубоко застряли во мне, зацепившись за сруб. И если их найдут когда-нибудь и вытащат на свет Божий — много они расскажут интересного. А почему он их подарил старшей сестре, никогда ясно не будет, да и кому это надо ворошить такое прошлое, вытаскивать его на свет, Божий ведь, из колодцев и прочих темных углов, тревожить умерших, которым и так несладко спать в сырой земле — этак и самого веселого и жизнерадостного человека можно загнать в уныние, если всякие неприятности про него пронюхать, да про его отца и мать тоже поразведать, нет ли за ними чего, да еще двух дедов и двух бабок потревожить, и четырех прадедов и четырех прабабок, и сколько всяких безобразий нааккупились, скажем, за двенадцать поколений его личных родственников, взятых

только по самой ближайшей линии, если только вот этих прапрапрапра-десятьраз бабок у него было две тысячи сорок восемь, а прапрапрапра-двадцатьраз бабок у него было то уже целых два миллиона да еще девяносто семь тысяч да еще сто пятьдесят две штуки и ровно столько же прапрапрапрадвадцатьраз дедушек, и каждый из них, ну почти каждый, за незначительным для такого количества исключением, наверняка не без греха или чего-то такого, про что он не очень хотел бы рассказывать, а хотел бы, чтобы это так с ним в сырой беспмятной земле и лежало. Да и потомку такой Кавказ безобразий тоже тяжело было бы нести, если бы он о нем знал: раздавил бы он человека. Шутка сказать — сколько же времени надо, чтобы в таком множестве лиц разобраться, и каждое из них соразмерно осудить, справедливое мнение о каждом из них составить и по совести каждому из них воздать. Невозможная для человека работа, жизни не хватит даже на своих родственников, не то что на чужих, а человеку надо еще свою жизнь прожить, и каждому хочется так, чтобы не без совести, чтобы все-таки попасть в небольшое исключение, а не в занудный ряд прабабушек и прадедушек, пусть не всегда хочется, а только иногда, когда ничего такого другого не хочется, но имеется это благородное желание, когда других желаний не имеется, имеется оно во всем блеске своей соблазнительности, так что человеку просто не до прадедушек. Тем более сейчас, именно сейчас, это я, колодец с журавлем, имеющий и глубину, и кругозор, точно знаю, потому что однажды учитель наш, Федор Михайлович Шванько, книгу читал, я в нее заглянул и прочитал там буквально следующее: "Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплемennых языков, а от нас самих", а где он такую крамольную книгу достал — не знаю, и как называется, тоже не знаю, потому что книга была завернута в газету "Пионерская правда", название газеты было прочитать легко, а книги невозможно, и Федор Михайлович долго сидел и думал, обхватив колена руками, и глядя куда-то за речку и на лес, думал, наверное, о том, как нашу землю спасать, а придумал ли что — этого я не знаю, но он и без усилий был очень хороший человек и не потому, что престарелый, а и раньше, в молодости. Всех детей в школе учил. И на свадьбе Михеева с Полиной он речь произнес, вполне приличную речь, ничего насчет спасать не говорил, из-зи неуместности, я думаю, о таком на свадьбе разговаривать, а вспоминал школьные достоинства новобрачных и просил в случае чего к нему, не стесняясь, обращаться за советом и помощью. И речь Федора Михайловича была последней вразумительной речью, после нее на свадьбе уже гуляли вовсю и беспорядочно, женщины смеялись кошачьими голосами "ааххаха! ааххаха!", а мужчины смеялись голосами собачьими "гогого! гогого!". Словом, потом уже гуляли кому как нравилось, говорили кому с кем нравилось и кому

чем нравилось, бабы много около меня сплетничали на следующий день рано утром, но все-таки за это утро я себе ясной картины не составил, а потом, часов с двенадцати, даже, может быть, и раньше немного, про свадьбу уже никто не говорил, не до свадьбы стало. А видно свадьбу мне было плохо из-за яблоневого сада и кустов бузины, за которыми стоит дом Михеева и его жизнерадостных теток, и слышно плохо из-за шума, так что хорошо я видел только тех гостей, которые появлялись с этой стороны кустов, но из того, что они с этой стороны кустов делали, ничего интересного вывести было невозможно. Так что могу только мелочи рассказать, что от баб слышал. Баба Фима, в частности, передала, что когда в первый раз закричали "горько", то Михеев ответил: "Горько, так сами и целуйтесь", но тут Полина его обняла и поцеловала, да так поцеловала, что он сразу добрый стал, а до того сидел весь нервный и глазами сверкал, как тигр ночью, это баба Фима выразилась. И больше Михеев не спорил с обществом, целовался, но стесняясь несколько, а вот Полина, странное дело, сказала баба Фима, несколько не стеснялась, целовалась вовсю, так что все ойкали и высказывали на счет ее будущей жизни разные смелые предположения, вроде не помер бы Михеев от чахотки, на что одноглазый Фомин сказал, что мед надо будет ему есть и парное молоко пить, а другой Фомин сказал, что это может и не помочь, что его племянник от чахотки спасался, бегая в поле, где коровы паслись, и прямо из вымени у них молоко сосал, и коровам это нравилось, только племянник все равно помер, давно это было. А дед Егор сказал, что ему другой случай вспомнился, как он в реку из лодки перевернулся, а плавать он не умеет всю жизнь и тогда не умел, а место было глубокое, и увидел он над головой, когда под водой кувыркался, как вода заплетается в такое зеленое со светом пополам, как бы вроде волокно конопляное, и громко вокруг него под водой было, наверно, воздух из него выходил, и тут его такой страх взял, что он закувыркался, как кикимора, и как-то за лодку ухватился, и вынесло его на мелкое место. А Постановов его спросил, в каком это он смысле рассказал, и дед Егор, подумав, сказал, что к тому, что никто не знает, где и что его ожидает, и Михеев в предстоящей жизни, может, тоже так кувыркнется, что и не пропадет. И тут поднялся смех — не то над дедом Егором, не то над Михеевым. И это было последнее, что бабы при мне рассказывали про свадьбу, и окунули меня головой в самого себя, лишив кругозора, и я услышал, когда вынырнул, это слово — война.

Глава 8

В воскресенье — на войну

— Скорее, — сказал Михеев суеотящимся теткам. — Скорее, тетки. Вы всегда, конечно, проворные и делаете все как нельзя более быстро, только сегодня надо скорее.

— Зачем спешить, — спросила мать Полины. — Повестка еще не пришла, позовут, когда время придет, что же ты от молодой жены после первой же ночи спешишь?

Михеев стоял посреди комнаты, а Полина обнимала его, и он смотрел глазами по сторонам, только не на ее волосы у себя под подбородком, а на стремительных теток и неподвижную, как пень, мать Полины.

— Нельзя не спешить, — сказал он. — А повестка что, ведь бумажка просто, повестка и потеряться может, и выписать ее могут забыть, в военкомате люди сидят неопытные, порядка у них мало, бумаг много, до нас далеко из района, вполне я могу потеряться при таком беспорядке, так что мне нельзя самому не спешить.

— Не зря не хотела замуж за тебя, — шептала Полина. — Не зря не хотела любить тебя, не успели рядом побыть, в доме, а не в лесу и не на берегу, а ты сразу уже прочь спешишь, по своей воле сразу жить начал...

— Полина, — сказал Михеев. — Ты пойми меня правильно, Полина. Кровь у меня этого требует, чтобы поскорее.

— Не могу я тебя понять правильно, — шептала Полина. — Газет ты начитался, глупостей всяких наслушался, вот и лезешь первый, а кто тебя звал, может, ты и вовсе никому, кроме меня, не нужен.

— Слово тебе даю, — сказал Михеев, — не вчитывался я в газеты, только чуть-чуть их читал, изредка, и конечно, никому я, кроме тебя, особенно не нужен, только кровь моя лично требует, чтобы скорее.

— Ну, как я могу понять тебя, если ты темно так со мной разговариваешь, — шептала Полина. — У молодого Фомина не требует, у Постановова не требует, а у тебя требует.

— Это ты ко мне прижалась и не видишь потому, — сказал Михеев, — а я вижу через окно, что молодому Фомину отец на голову

воду из ведра льет, чтобы он отрезвел до конца, а в доме мать, ему мешок укладывая, плачет. А что у Постановова не требует, это меня не касается, значит, он свойство другое имеет, чем я или чем Фомин, но это его свойство, и нет мне до него сейчас дела, мне скорее надо.

— Не любит он тебя, Полина, — сказала ее мать. — Я тебя люблю, я бы так никогда не сделала.

— Замолчи, мать! — закричала Полина, отрываясь от Михеева. — Не любит? Замолчи, не то уйду от тебя, видеть тебя не стану!

— У нас будешь жить, — отозвались с готовностью обе тетки Михеева на ходу. — Теперь ты наша как-никак.

— Я молчу, — сказала мать. — Три месяца уже все вижу и молчу, обидел он тебя и теперь обижает.

— Некогда мне с вами тут, — сказал Михеев. — Давайте мешок, тетки.

Полина хотела было что-то матери крикнуть, но оглянувшись на Михеева. Такой у него был целеустремленный взгляд, такое неподвижное лицо, только рот сжался крепко, скулы выступили резче и брови немного сдвинулись, словно он видел что-то перед собой, с чего нельзя было глаз спустить, что двигалось быстро и непонятно, и к движениям этим нужно было присмотреться и в них разобраться, прежде чем самому двигаться, а ему мешали, не давая сразу мешка, разговаривая о другом и вообще отвлекая.

Полина ничего ему не сказала, а бросилась к теткам, и они быстро все собрали, что нужно, и вот уже рядом вдвоем шли по деревне в район, к военкомату. А Михеев говорил, и лицо его при этом не менялось:

— Ты, конечно, без меня скучать будешь, но особенно тебе скучать будет некогда, особенно, когда первенец родится, да и работы на тебя свалится столько, что я даже беспокоюсь, справишься ли ты без меня, хотя и выносливая и толковая, но все-таки всей мужской работы не переделаешь, а я постараюсь скорее управиться, только мне это дело совсем незнакомое, и пока я привыкну и его пойму, много пройдет времени, так что, думаю, не меньше года, а то даже и двух, я потому и тороплюсь сейчас, чтобы поскорее это дело начать и поскорее кончить и к тебе вернуться, и тогда нам никто помешать не сможет и будем мы жить, как хотели, даже еще лучше, потому что оба сильно наскучаемся, нестерпимо так наскучаемся, вот и сейчас я уже скучать начинаю и опять мне хочется тебе про свою любовь рассказывать, какая у меня к тебе сильная любовь и как мне повезло, что ты теперь моя жена и никуда уже от любви моей не денешься, никогда уже не денешься, вот как мне повезло.

— Никуда я и не хочу от тебя деваться, — сказала я, — потому что я тебя люблю, проклятого, это ты от меня, ненормальный, уходишь и глупые слова мне говоришь, а я все лучше тебя знаю и пони-

маю и никогда полной твоей воли не допущу, даже когда вернешься, хоть и стань какой там герой, а я не допущу.

— Не хочу я там стать героем, — сказал Михеев, — потому что я это плохо понимаю, как это надо становиться героем, я совсем про другое думаю, как бы мне там поскорее начать, чтобы поскорее кончить и к тебе вернуться.

— Лучше тебя я все знаю и понимаю, — сказала я. — Просто ты ненормальный, и это такая мне судьба особенная выпала, что я ненормального полюбила, который всюду на рожон лезет, и сладу с ним никакого нет, и не может он даже один день повестки подождать, сам идет, в воскресенье, когда человеку отдыхать положено, а не на войну идти, и гости вечером придут, когда отоспятся, чтобы снова гулять, а я должна всему честному народу объявлять, что муж у меня после первой же ночи на войну сбежал.

Так мы с ней поговорили в последний раз, и я ушел на войну, чтобы воевать и ждать, а я пошла домой, чтобы жить и ждать, и я смотрел ей вслед, и я смотрела ему вслед, и, Боже мой, как нам невольно было расставаться, ну прямо хоть криком кричи, ну прямо хоть губы кусай, а мы только и успели что на прощание немного поспорить, а ведь ему было двадцать, а ей девятнадцать, и она ушла, и он ушел — в воскресенье, воскресенье, на войну — в воскресенье, понимаете?

Глава 9

Общая картина войны с проступающими подробностями

Война поражает людей, и они закрывают глаза, не желая глядеть в такое зеркало своего несовершенства, а смелые личности пишут про войну жестокие повести, романы, рассказы, поэмы, чтобы предъявить человечеству факты для размышления, и человечество размышляет, размышляет, вот уже три тысячи лет размышляет, и над романами и над рассказами размышляет, и все еще ни до чего такого не додумалось, чтобы в результате не стрелять. А про абсолютно счастливую деревню это ведь не повесть и не поэма, это просто песня, которую автор поет, как чумак, и вдруг в эту песню ворвалась война, поет, как чумак, что вез пшеницу в Крым, а обратно соль, поет в просторе времени и пространства, поет, потому что так устроен, только везет он не пшеницу, а свой личный воз повседневной жизни, только вот разве что не молча едет, а поет, что тут скажешь, скажи пожалуйста.

Война ворвалась неожиданно и пошла стрелять по всей земле во все живое, во все дела человеческие и даже в равнодушную природу. И общая ее картина сначала была для русского человека совершенно отвратительна, потому что немцы зеленого цвета и гот мит унс на пряжках поясов были под самой Москвой, были на Дону, на Волге, на Оке, на Неве, в больших городах и в маленьких деревнях, вот такая была сначала отвратительная картина. И долго она была такой — светило летнее солнце, шли осенние дожди, выпадал снег, опять зеленела земля и опять белела земля, а перемен не было.

А потом пришли перемены к лучшему и перемен к худшему больше не было, и это, так сказать, картина общая.

А проступающих в ней подробностей было хоть отбавляй. Сколько людей — столько и подробностей, даже больше, гораздо больше.

Глава 10

Михеев лежит в чистом поле, привыкая

Вот, оказывается, какая это огнеупорная работа, сколько в ней надо понимать и про оружие, свое и чужое, и про местность, и про тело свое тоже надо многое понимать, и нельзя сказать одним словом — здесь нельзя в этой работе спешить, потому что бывает очень надо именно со всех ног спешить, а бывает, что надо обождать. А вокруг грохот, шум, суета, пыль столбом, и все это старается тебя запутать, сбить с толку, чтобы ты ясность соображения потерял или, наоборот, чрезмерной ясностью ослепился до того, чтобы тебе вдруг все просто показалось, и ты такой неуязвимый, и пуля тебя не боится, и штык, видишь ли, не берет.

Немцы стреляли редко, лениво и без толку, так что Михеев в индивидуальном окопе имел, можно сказать, полный покой и мог отвлечься мыслями от немцев перед собой, от своей готовности к неожиданностям, от чистого поля вокруг, не полностью, конечно, отвлечься, полностью он уже никогда не отвлекался, имел опыт, но все-таки достаточно, чтобы внимательно повторить пройденный путь, вспомнить все свои знания и еще раз их проверить, проверить даже мускулами, как и какой мускул в каком случае действовать должен и достаточно ли он привык именно к такому действию, и если что неожиданно, то не забудет ли он сработать, как полагается, хотя, может быть, сам Михеев от неожиданности и растеряется и распорядиться этим мускулом позабудет.

Вот так он привыкал в чистом поле, уже не первый раз привыкал, и каждый на войне тоже так постепенно привыкал, и вся страна тоже постепенно привыкала к необычному состоянию, включая и деревню, оставленную Михеевым, и оказывалось, постепенно, конечно, что страшен черт, пока его не намаляют, и эту работу можно сделать, как и любую другую, в конечном счете, как бы даже и не хуже, вот совсем даже лучше иных, а вы воображали и думали, где уж им. В конечном счете, разумеется, не сразу, сразу это мы не умеем, у нас размеры государства такие, что сразу невозможно нам ничего никак, сроков мы не любим точных, расписаний, распорядков, всяких там дрыг-дрыг, дрыг-дрыг и чтобы все сошлось. Такого от нас ожидать не надо, у нас земля чересчур обширная для такого, это нам не по душе. Но в конечном счете умеем, вот так, как-то этак, сами не понимаем как.

Глава 11

Солдат Куропаткин говорит с Михеевым о потребностях

Перед той страшной атакой, в результате которой Михеев перестал жить среди нас, не сразу перед атакой, а примерно неделю перед ней, когда их часть стояла в небольшом украинском селе, разместившись в тех немногих домах, что не пожгли, отступая, немцы, точнее сказать, в тех немногих домах, которым повезло, чисто случайно, потому что немцы спешили, убегая, и не делали теперь свое дело тщательно, как раньше, когда они наступали, вот в одном из таких домов, лежа рядом на ночлеге, Куропаткин и Михеев поговорили немного.

— Что ты все ворочаешься, ворочаешься, а не спишь? — спросил тихо Михеев Куропаткина, и его спокойный голос раздался среди трудового храпа остальных солдат, как пение среди барабанов.

— Думаю о своих потребностях и не могу спать, -- сказал Куропаткин. — Ты успел жениться, а я не успел, поэтому ты много знаешь такого, чего я не знаю о женщинах. А знаю я мало и необстоятельно, потому что в Ярославле имел я взаимоотношения с разными девчонками, общим числом с тремя, но все мельком, так что я запомнил плохо и разобраться не сумел, что к чему, впопыхах, а вот если бы у меня была жена...

— Жаль мне тебя, — сказал Михеев. — Запутавшийся ты человек, можно сказать, окончательно запутавшийся человек, если такие у тебя рассуждения об этом. Понятно, что ты спать не можешь. Вот до чего запутался.

— Это точно, — сказал Куропаткин, — что не могу спать. На спине лежу — плохо, на боку лежу — еще хуже, на живот лягу — совсем не могу, на спину перевернусь — опять плохо.

— Запутался ты, — сказал Михеев. — Разницу не понимаешь.

— Какую разницу? — спросил Куропаткин, ложась на бок.

— Эту разницу, может и трудно понять в мирное время, но в военное только дураку она не видна, вот и выходит, что солдат ты хороший, парень смелый, пулемет свой таскаешь усердно, а ума у тебя еще маловато, простых вещей своим умом понять ты не в состоянии, — сказал Михеев.

— От первой девчонки, сколько ни думаю, никаких воспоминаний не осталось, только вроде мягкое и теплое, в церковь мы с ней

забрались, есть у нас такие брошенные церкви, эта Миколы Мокрого называлась, я потом узнал, до Ленина еще так называлась, на ватнике мы с ней легли. Совершенно ничего не запомнил, надо же, а церковь эту помню, там склад помещался, а перед тем столовая, а еще перед тем офицеры венчались, это еще давно, мне сторож складской рассказал, когда он нас спугнул, надо же, какую ерунду запомнил, пока со сторожем курили, он говорил, да вы приходите, но засмушалась она, а потому я след ее потерял, так ничего и не могу вспомнить. От второй уже больше помню, мы с ней раз пять или шесть встречались, худая была, ни груди, ни зада, руки тонкие. Вот помню, как она целовалась, особенно помню, как она рукой своей длинной за шею меня обнимала, нежная такая рука, в плече никаких мускулов нет, одна нежность. И шею ее помню, длинная шея, прямо из плеча начиналась, и жилки на ней тоненькие. Давай закурим, Михеев, а?

Куропаткин перевернулся на живот и закурил.

— Ты говори, — сказал Михеев, — а потом я с тобой умом-разумом поделюсь, не беспокойся, умный будешь, глупость эта у тебя от молодости, а раз от молодости, то значит, пройдет, это ведь которые старые или от природы глупы, с теми делиться бесполезно, у них глупость пожизненная, не то что у тебя.

— Коса была у нее или нет — не помню, — сказал Куропаткин, переворачиваясь на спину. — Лучше всего я третью запомнил. Олей ее звали, хотя мы с ней только четыре раза и лежали, зимой было дело, холодно и негде, к подруге ее ходили, но подруге самой жить надо было, а у подруги бабка свирепая, верующая была, редко из дому уходила, только вот на неделю в больницу легла. Эта потолще была, фигурой на нашего полковника похожая, только грудь гораздо больше, задница совсем малюсенькая, а бока широкие и плечи широкие. Пальцы ее помню, короткие пальцы, все нос почему-то мне ласкала, пальцем по носу все водила, очень приятно было. Только все они гулящие были, девки эти, легкомысленные, так сказать. Вот была бы у меня жена, я бы все до тонкостей постиг, все бы досконально узнал, спокойнее мне воевать было бы, по ночам не ворочался бы, тихо бы лежал и вспоминал.

— Окончательно ты запутавшийся человек, если так это мыслишь, и жену с курвами на одну доску ставишь, — сказал Михеев. — Хорошо, что ты не женился, одно безобразие у тебя получилось бы, раз ты не можешь разницу между женой и курвой понять.

— И то баба, и то баба, какая же тут разница, — возразил Куропаткин. — А я вот не могу целую бабу вспомнить в уме, по частям представляю, живот, например, или ноги, или лопатки — это для меня сплошные белые пятна, так сказать, я уже про главное и не говорю.

— Разница тут огромная, — сказал Михеев. — Вроде как между

тобой и фашистом, хотя и ты и он человек, и сверху у вас все одинаковое, и внутри у вас анатомия одинаковая, и почки у вас одинаковые, и даже в голове мозг по составу одинаковый, а между тем разница у вас коренная, по духу разница, а не по кишкам. Так и у жены с курвой разница по духу, а не по внешним показателям в виде там груди, ног или живота, хотя и тут могут быть отдельные и значительные несовпадения. Курва существует только для того, что сверху у тебя, а жена не только для того, что сверху, но и для духа тоже, чтобы с ней разговаривать и спорить, потому что она, в отличие от фашиста или курвы, никакого обмана в себе не содержит, она с тобой целиком, а ее противоположность не целиком с тобой, а только внешне, понимаешь эту огромную разницу?

— Не очень-то, — сказал Куропаткин.

— Вот видишь, — сказал Михеев, — а собирался жениться. Пока этой разницы человек не поймет, твердо не усвоит, нельзя жениться, ерунда у него получится, а не семья прочная и на всю жизнь, особенное безобразие выйдет, если дети у такого идиота родятся, тогда хоть караул кричи, такое свинство будет получаться. Жена будет думать, что он ее понимает как жену, и дети будут думать, что он понимает их мать как жену, и все родственники, и соседи, и знакомые будут так же думать, а он ее не будет понимать как жену, а будет искать другую, чтобы ее понять как жену, но искать ему будет трудно, а найти еще труднее, потому что у него уже есть жена, и даже дети от жены уже есть, и не жена ему нужна, а с кем бы переспать для успокоения крови, а ему будет мало переспать для успокоения, он ведь сам того не понимая, жену ищет, но у него уже есть жена, а та, с которой он переспит, очень может оказаться тоже женой, только другого мужа женой, она по тем же причинам, что и он, мужа себе ищет, не своего, а тоже другого, и тут до беды совсем недалеко, потому что его жене это совсем не понравится и ее мужу не понравится, и их детям не понравится, и всем родственникам, соседям и знакомым не понравится тоже, потому что у них своих забот хватает, им такая путаница ни к чему, им от такой путаницы жить еще тяжелее, разбираться надо, а не разбираться нельзя, им неприятно не разбираться, а как тут разберешься, если два мужа и две жены и все их дети сами не могут разобраться, кто из них кто, кто настоящие жена и муж, а кто не настоящие и почему. Понимаешь теперь, в чем тут разница? Что молчишь?

Куропаткин ничего ему не отвечал и молчал, потому что заснул.

— Спишь, — сказал Михеев. — Значит понял все до конца и успокоился. Я же говорил ему, Полина, что он не дурак, а молодой просто. Видишь, прав я оказался.

— Ты, конечно, прав, — сказала Полина, — и я об этом тоже вот сейчас думаю, и странно мне, как это раньше я с тобой постоянно

спорила и ни в чем не соглашалась, а сегодня во всем с тобой согласна, но не должен ты сейчас ни о чем думать, а только об одном — как бы поскорее воевать закончить и ко мне вернуться, потому что нет моей мочи тебя ждать, да и близнецы наши никогда тебя не видели, а ведь разговаривают уже оба и растут здоровенные, хотя есть им достается мало и не часто. Нет моей мочи тебе ждать ни как жене, ни просто как бабе, ни как матери, ни как работнице. Одна ведь я осталась с мальчишками твоими — и моя мать угасла, и тетки твои умерли, и корову на мясо сдала — ходить за ней некогда, и на работе я надрываюсь, и дома совсем не справиться, и ребята одни весь день, и забор разваливается, крыша протекла, огород сорняком зарос, поторопись, пожалуйста.

— Скоро вернусь я, скоро уже, — сказал Михеев. — Теперь мы уже не отступаем, а наоборот, вперед идем, быстро идем, изо всех сил быстро, хотя много лишнего народа бесхозяйственно гибнет, но спешить нам приходится, и я спешу больше всех, так что мне кажется, что это я во главе всей армии вперед иду, а все, как один, за мной. Потерпи немного, очень тебя прошу.

— Сколько хочешь буду терпеть, лишь бы ты живой вернулся, — сказала Полина.

— Слушай, Михеев, — сказал Куропаткин, просыпаясь. — Надо было мне все-таки на этой Оле жениться, а то вот опять разные волнующие белые пятна снились, одно белее другого.

Но Михеев ничего ему не ответил, словно спал, а вокруг них спали усталые солдаты на полу, сняв сапоги и накрывшись шинелями, спали крепко, дыша с хрипом и трудом тяжким воздухом переполненного ими помещения, и это были серьезные солдаты с серьезным вооружением, злые к врагу даже во сне, это была настоящая армия, в которую собрался народ, спасая себя самого, а не желторотые новобранцы, растерянные и почти безоружные, что стояли два с лишним года назад недалеко от этого села за рекой, обутые кто в сандалии, кто в тапочки, мало кто в ботинки с обмотками, имевшие только непосредственных командиров, а высшие командиры их давно потеряли, и сам командир дивизии их потерял и приехал со своим штабом туда, где должна была находиться его дивизия, а она там не находилась, и штабной батальон вступил с немцами в бой, заменяя собой целую дивизию, и не смог, конечно, ничего защитить, включая это село, и немцы его захватили, и многие жители бежали из него, и кое-кто оказался в деревне Михеева, о них еще будет немного рассказано, а вот о том, как рассердился народ не на шутку и завоевал всерьез и как командир дивизии стал так воевать, что теперь он маршал, об этом не будет рассказано, может, Михеев и рассказал бы, если бы не атака, после которой не стало Михеева среди нас.

Глава 12

Атака, в которой не стало Михеева среди нас

— Давным-давно, еще древним, было известно, что война это работа, такая же работа, как выращивание хлеба, как выхаживание скотины, как сооружение дома, только работа кровавая и этим необычная. И отступление работа, и наступление тоже, а сейчас мы наступаем, делая это, как вот уже давно любую работу, наспех и кое-как, очень торопливо, а это было на этот раз неизбежно, и потому много погибло народу, так много, что до сих пор никто не сосчитал сколько, а если кто и сосчитал, то испугался своего подсчета и оставил его про себя — пусть уже завтра, завтра, когда все образуется и станет ясным и в сути, и в счете, когда неведомым чудом все недоделки исчезнут, поля заколосятся хлебами, по лугам пойдут пастись тучные стада и дома, построенные худо, вдруг превратятся в хрустальные дворцы, а лица расплывутся в счастливых улыбках, тогда, в этом замечательном завтра, на которое только и уповаем и надеемся, поскольку уповать и надеяться больше решительно не на что, в этом замешкавшемся завтра, когда мертвые воскреснут, грехи отпустятся, палачи поцелуются с жертвами — им и сейчас этого хочется, потому что испокон веку на Руси палачи ищут любви своих жертв, ибо сейчас он палач, а потом обязательно жертва, и хочется им, палачам, чтобы жертвы были с ними заодно, в трогательном единении при совершении общего всемирно-исторического акта, и так им этого хочется, что никакой иной возможности они и в мыслях не допускают, так вот, когда мертвые воскреснут, грехи отпустятся, палачи обнимутся с жертвами, а дураков просто простят, тогда во всем разберутся и выяснится, что все решительно было правильно, поскольку увенчалось таким потрясающим результатом, полученным посредством достижения сияющих вершин с помощью разнообразных способов, включая работу тяп-ляп. И потому не надо сейчас суетиться и стараться забежать вперед и отнять у будущих поколений совершенно всю работу по осмыслению нашего удивительного времени — надо и им, этим поколениям, что-то оставить для деятельности, да и зачем нам еще одну работу делать тяп-ляп, лучше пусть каждый старается по мере сил, не ожидая от своего усердия ничего лично для себя, ни даже царствия небесного, а одного только счастливого завтра, того лучезарного зав-

тра, когда нас наверняка не будет, но зато там-то и начнется прекрасная жизнь...

— Не согласен я, не знаю, кто это говорит, — сказал Михеев, прижимаясь покрепче к танку, на котором он мчался к переправе, а танк дрожал и трясся, словно старался его сбросить. — Конечно, идет война, и война, это правда, тяжелая работа, ничего такого тяжелого никогда до сих пор мне делать не приходилось и не придется, и отступать было тяжело, и наступать тоже тяжело, но жизнь у меня была прекрасная в нашей деревне и будет, конечно, еще прекраснее, потому что есть у меня там Полина и вот два, хоть и близнеца, но здоровенных парня, и будут еще другие дети у нас, и есть там земля, которая родит, не скупясь, и много у меня там всяких дел, для которых имеются вот две довольно-таки крепких руки, и голова на плечах тоже имеется, и когда я вспомню нашу синюю-синюю реку и наше синее-синее небо и наш зеленый-зеленый лес, в котором мои сыновья будут скоро собирать грибы и присядут над, например, боровиком, спрятавшимся от них под тень, траву и листья, так ничего я про завтра не понимаю, почему оно прекраснее, чем моя жизнь, и чем тогда будет лучше, чем в моей деревне, вот хоть убей не понимаю, хотя, конечно, понимаю, что мне сейчас на трясущемся танке в полной выкладке ехать навстречу огню не так чтобы очень приятно, и речка впереди — мутная речка, и лес впереди черный и обгорелый, и небо надо мной пыльное и дымное, некрасивое небо, совсем не небесного цвета, все это я понимаю, эту, так сказать, наглядную разницу, но я и здесь, на танке, не жалею, а только тороплюсь. Все мы торопимся, что же тут такого особенного, ведь неприятную работу всегда поскорее закончить хочется.

И когда танки и на танках пехота переправились через мутную речку, началась война, какой еще не приходилось видеть Михееву, давно уже обстрелянному солдату.

Он вместе с другими высадился на песчаной косе шириной метров в тридцать, а впереди был высокий обрывистый берег, и там наверху начиналась оборона немцев, и земля вздрагивала всем своим срезом от взрыва наших снарядов, падающих на эту оборону, и осыпалась вниз, на тела наших бойцов, устилавшие плацдарм, изрытый глубокими окопами. Танки пошли влево, чтобы подняться на обрыв, а взводу, в котором состоял Михеев, командир приказал еще глубже закопаться в землю. Этот плацдарм входил в далеко идущие замыслы далекого отсюда командования, и солдаты зарывались, радуясь, что так легко копать эту землю, только вот крепить стены окопов почти нечем.

Михеев кинул очередную лопатку земли и выглянул из окопа. И словно он, тем, что выглянул, подал сигнал.

Земля вздрогнула, небо рассыпалось в порошок, речка лопнула и полилась в разные стороны. Танки вдали остановились как вкопан-

ные, сразу, и исчезли из виду, потому что наступила ночь, и ночь боролась с днем, день пробивался сквозь темноту то здесь, то там, отчаянно пытаясь задержаться больше чем на миг, но мрак душил его, засыпая землей, застилая дымом, и ничего не было слышно, кроме монотонного рева взрывов, и во вспышках дня пролетел кусок дерна с обгорелой осиною, мелькнула рука с автоматом, прокатилась башня танка, просвистел черный обломок снаряда, показавшийся Михееву огромным. Плацдарм накрыла немецкая артиллерия и начала перемешивать тесто из песка, из убитых и из живых, чтобы спутать планы далекого нашего командования.

Михеев прижался к волнующейся стенке траншеи, заботясь, как и положено, о своей жизни и зная, что такой огонь не может продолжаться долго. Но он ошибся. Огонь продолжался и продолжался, ему не было конца, и день устал бороться с ночью и уступил, и спряталось невидимое солнце за невидимый горизонт, и только тогда огонь прекратился и нестерпимо загрохотала тишина. Михеев распрямылся и выглянул. Тесто было замешано круто, нигде не видно было живых, окопы и траншеи разрушились почти везде, песок был розовый, но не от заката, крутой обрыв стал еще круче, и на фоне неба Михеев увидел голову — она осматривала, как и он, плацдарм, и рядом с головой торчала темная палка ствола. Михеев прицелился не торопясь и выстрелил. Голова дернулась, потом поникла, показались две руки, упал автомат, руки схватились за голову, словно хотели ее оторвать, на край обрыва выползло на помощь голове туловище, бившееся в последних усилиях, потом немец умер, затих и медленно скатился вниз по обрыву. И снова вздрогнула земля, и Михеев опять прижался к стенке траншеи, удивляясь, что этот кусок ее с ним внутри неуязвим для снарядов и осколков, наверно, из-за какого-то пустяка в рельефе местности. На этот раз огонь продолжался недолго, и когда он прекратился, была уже полная ночь, и Михеев услышал на реке легкие всплески и понял, что это подходит подкрепление.

С рассветом немцы снова начали месить плацдарм и месили его так же круто, и под вечер человек пять немцев решительно бросились вниз с обрыва, и Михеев стал неторопливо стрелять, и кто-то еще неизвестно откуда тоже стрелял из пулемета, наверно, Куропаткин, и последний немец побежал назад и выскочил на край обрыва, судорожно жестикулируя, и когда он показался на фоне неба, Михеев выстрелил. Немец целую минуту проторчал на краю, размахивая руками, стараясь упасть туда, к своим, но не смог, изогнулся дугой и полетел с обрыва. А ночью прибыли новые наши подкрепления, и снова они полегли все до единого от немецкого огня, и так продолжалось неизвестно сколько дней подряд, так что Михеев научился даже засыпать под огнем и просыпаться от тишины, а ночью ему приходилось есть и таскать к лодкам тяжелораненных.

Он уже плохо понимал, что делает и почему его до сих пор не убило, это было необъяснимо, и он полюбил свой надежный, словно заколдованный уголок в траншее, ставший ему домом. И когда однажды пришло особенно большое подкрепление и Михеев узнал, что он стал теперь старшим сержантом, командиром отделения, он огорчился, потому что рядом с ним в его песочном доме не могли поместиться все десять солдат его отделения, а только четверо, и он не знал, кого же выбрать, все были молодые, почти одинаковы, и все должны были жить. Он сидел и думал, как же ему их разместить, если вырыть углубления, то даже шесть человек поместится, может быть даже семь, но трое все равно не поместятся, ведь весь его дом величиной с табуретку, а кругом этой табуретки еще никто ни разу не уцелел, и в глубину уже рыть некуда, до воды он уже дорылся, а углубления больше не выроешь, обвалятся. А ведь он теперь командир, значит, по честному правилу, должен себя сберечь, но и о подчиненных он тоже обязан заботиться, сохранять их жизни, чтобы они зря не пропадали, а оставались в строю. И ему нельзя, никак невозможно уступить свое место, это будет глупость с точки зрения военной работы, ведь на его место мог поместиться только один солдат, вот если бы четыре, тогда другое дело, потому что тогда это имело бы смысл, но один не имело, а тогда бы он подумал. В мирное время, ясно, начальнику должно быть хуже всех и во всех отношениях, и в похожем положении он, конечно, от своей личности отказался бы, самое тяжелое взял бы себе, но как быть в военное время, он не знал.

— Понимаешь, — сказал он солдату, дремавшему рядом с ним, — не знаю, как вас всех в кучу собрать поближе ко мне.

— Что? — встрепенулся дремавший. И из его широко раскрывшихся ночных глаз вылетели страх, боль и надежда и влетели в глаза Михеева.

— Не знаю, говорю, что мне делать, — сказал Михеев, морщась от того, что его царапали чужие страх, боль и надежда. — Как вас всех в кучу собрать, здесь вот, потому что тут возможности больше вам уцелеть, но мы все тут не помещаемся, и не знаю я, что делать.

Но солдат уже опять дремал и не слушал совершенно не нужные ему в эту минуту слова.

Глава 13

Михеев разговаривает с землей

— Много я передумал, пока рельеф твоей местности сохранял мне тут жизнь, — сказал Михеев. — И вот, между прочим, что. Если бы был такой один огромный снаряд, который с огромной силой взорваться должен был где-то, неважно где, и я бы знал, что мой окоп — надежный окоп и устоит даже от такого взрыва, от которого ничто и нигде не устоит, все, что есть на свете, разрушится, и все, кто живет на свете, погибнут, а я в своем окопе мог бы поместить только четверых, то, конечно, первым делом, я взял бы сюда Полину и двух своих сыновей, но сам бы я отсюда вылез бы все-таки, как-нибудь все-таки удалился бы, чтобы освободить место для других детей, которые гораздо меньше жили, чем я, и вообще неудобно мне было бы уцелеть, хотя Полине без меня пришлось бы более чем трудно, тем более, что снаряд этот все бы поуничтожил, и пролетариев всех стран, и капиталистов, и работы осталось бы несделанной огромное количество.

— Очень много работы, — сказал земля.

— Вот именно, — сказал Михеев. — Тем не менее мне пришлось бы вылезти, хотя Полине потом одной строй дом и одной копай огород, дои корову, обшивай ребят и учи их грамоте. Но ведь те снаряды, которые начнут падать на нас утром, отличаются от того огромного снаряда только силой взрыва, а не по существу.

— Конечно, не по существу, — сказала Земля.

— А раз не по существу, — сказал Михеев, — значит, и мое решение не должно отличаться по существу, ведь все эти солдаты, над которыми я сейчас непосредственный, к сожалению, начальник, тоже жить хотят и право имеют жить, а завтра их поубивают почти без пользы. В предыдущем случае я бы не просто вылез, а побежал бы к тому месту, откуда собираются пустить огромный снаряд, и постарался бы там помешать его пустить, не помирать же здорово живешь вот так просто как муха, а Полине потом работай. Выходит, и сейчас я должен сделать то же самое, оставить здесь те семь человек, что уцелеют, а с тремя побежать быстрее туда, откуда стреляют по нам. Ничего другого мне не остается.

— Ничего другого тебе не остается, — трудно сказала земля.

Глава 14

Атака, в которой не стало Михеева среди нас

В темноте по залитому кровью песку и дальше по рыхлой земле у подножья обрыва быстро пробежали четверо солдат, вползли, как ужи, на обрыв через его край и исчезли там. Однако наш дозорный заметил их на обрыве и растолкал своего начальника.

— Товарищ страшный лейтенант! — сказал он. — Атака! наши туда поползли!

— Командиров взводов ко мне! — приказал начальник.

Некоторое время спустя в расположении немцев поднялась стрельба, в небо взвились осветительные ракеты, шум боя долетел до наших войск на том берегу и, как это бывает на войне сплошь и рядом, разбуженный внезапно механизм пришел в действие, увлекая все больше и больше людей, опережая и разрушая планы и замыслы, разгораясь словно сам собой, без надлежащей подготовки, когда и артиллерия для наступления не сосредоточена, и танки в нужном количестве не подошли, и языки не взяты, и самолеты не заправлены горючим, и инженерные работы не закончены, и связисты не отрегулировали связь, и командиры всех родов войск не согласовали между собой свои действия и не поставили задачи своим подчиненным, указав рубежи, сроки и ориентиры, однако и пушки стреляют и наличные танки идут вперед, и самолеты летят бомбить, и саперы наводят мост, и связисты тянут кабель, и командиры указывают рубежи, сроки и ориентиры

В немецких траншеях четверо солдат дрались остервенело, не стараясь ничего захватить, нигде окопаться и засесть, а стремясь вперед и вперед, внося путаницу в оборону немцев, переполох в сердца, вызывая торопливость и спешку. Но чудес не бывает на войне, почти никогда не бывает, и вчетвером невозможно прорвать оборону, невозможно победить сотню врагов, вчетвером можно только погибнуть смертью храбрых.

“Ваш муж погиб смертью храбрых”, — прочитала Полина и не вскрикнула, не упала, а осталась стоять, как стояла, только прислонилась плечом к дому стояла неподвижно, не хотелось ей шевелиться, говорить, плакать и жить.

Глава 15

Солдат Куропаткин перед офицерами на незнакомой поляне несколько месяцев спустя

– Как же так, – сказал полный старый полковник, – что ж это ты не боролся, солдат?

– Боролся, товарищ полковник! – отрапортовал рядовой Куропаткин. – Вел непрерывный пулеметный огонь согласно приказу по указанному сараю.

– Но в сарае-то никого не было и во всем хуторе никого не было, и за десять километров от хутора никого не было, – устало сказал полковник. – Ни одного немца, понимаешь?

– Так точно, товарищ полковник, понимаю!

– Зачем же стрелял, если понимаешь?

– Согласно приказу, товарищ полковник!

– Не знаю, что делать, – сказал молодой майор капитану и замполиту. – Четыре часа взвод атакует сарай, в котором никого нет, и хутор, в котором тоже никого нет, и за десять километров от хутора никого нет, целый день атакует, а виноватого не найти.

– Неужели не видел, что никого там нет? – спросил полковник.

– Так точно, видел, товарищ полковник! – сказал Куропаткин весело. – Не дурак же я, конечно видел.

– Так зачем стрелять, если видел? – спросил капитан.

– Разрешите отвечать, товарищ полковник? – обратился Куропаткин по начальству.

– Отвечайте.

– Приказ был, товарищ капитан.

– А потом что было? – спросил майор.

– Разрешите отвечать, товарищ полковник?

– Отвечайте.

– А потом согласно приказу был бросок на автомашине к озеру, товарищ майор, – сказал Куропаткин. – Был приказ занять там рубеж и удерживать, я удерживал, остальные не смогли, погибли.

– Был такой генерал Куропаткин, – сказал замполит. – Это не родственник ваш?

– Разрешите отвечать, товарищ полковник?

– Отвечайте, – сказал полковник. – Отвечайте, не спрашивая

у меня.

— Мне, собственно говоря, спросить надо, товарищ полковник. Разрешите спросить, товарищ полковник?

— И спрашивайте, не спрашивая, — сказал полковник.

— Не понимаю, товарищ полковник! — сказал Куропаткин. — Так можно спросить?

— Я вам уже сказал: спрашивайте! Спрашивайте, не спрашивая! — Полковник начал нервничать.

— Не понимаю, товарищ полковник!

— Что ты не понимаешь, солдат? Что? — спросил полковник.

— Спрашивайте не спрашивая не понимаю, товарищ полковник!

— Спрашивай у него, — показал полковник пальцем на замполита, — не спрашивая у меня, — и полковник ткнул этим же пальцем в себя.

— Разрешите доложить, товарищ полковник! Мне надо спросить не у него, — и Куропаткин показал подрородком на замполита, — а у вас, — и он показал подбородком на полковника.

— Спрашивайте, — пожал плечами полковник.

— Товарищ генерал Куропаткин, он откуда родом? — спросил Куропаткин.

— Откуда я знаю? — сказал полковник. — При чем тут генерал Куропаткин?

— Товарищ замполит спросили, не родственник ли мне товарищ генерал Куропаткин, товарищ полковник! — сказал Куропаткин. — Поэтому я интересуюсь, откуда он родом, если из моих мест, то очень может быть, что родственник, а если не из моих мест, то не так может быть, что родственник, товарищ полковник!

— Откуда вы родом, товарищ замполит? — строго спросил полковник.

— Из Ярославля, — удивленно сказал замполит.

— И я из Ярославля! — сказал Куропаткин радостно. — Разрешите доложить, я тоже из Ярославля, товарищ полковник!

— Ну и что? — спросил полковник.

— А то, товарищ полковник, что если товарищ замполит родом из Ярославля, и товарищ генерал Куропаткин тоже, возможно, родом из Ярославля, и я родом из Ярославля, то мы все получаемся родом из Ярославля и все, возможно, родственники, — объяснил Куропаткин.

— Моя фамилия Краснов, а не Куропаткин, — сказал замполит. — И вообще я в Ярославле только родился, а жил в Саратове.

— Ну и что? — спросил у него полковник.

— А то, что, значит, не могу я быть родственником генералу Куропаткину, — усмехнулся замполит.

— Не понимаю, сказал капитан. — Почему, если вы жили в Саратове, то вы не можете быть родственником генералу Куропаткину?

— Так кто из вас родственник генерала Куропаткина? — спросил полковник.

— Не знаю, товарищ полковник, — сказал Куропаткин.

— Может быть, этот солдат и родственник, а я нет, — сказал замполит.

— Не понимаю, при чем тут то, что вы жили в Саратове, — сказал капитан.

— А почему солдат Куропаткин называет белого генерала Куропаткина товарищем? — обратил внимание майор.

— Молчать! — закричал полковник. — Все молчать! Говорите по одному, я ничего не понимаю! Говорите вы, — приказал он Куропаткину.

— Что говорить, товарищ полковник? — спросил Куропаткин.

— А что вы хотели сказать? — спросил полковник.

— Я хотел не знаю сказать, товарищ полковник.

— Чего не знаете? — спросил полковник. — Спросите, если не знаете!

— Что спросить, товарищ полковник?

— Что не знаешь, солдат, то и спроси! — приказал полковник.

— Я не знаю уже, что не знаю, товарищ полковник.

— Товарищ майор, доложите все сначала, — устало сказал полковник.

— Слушаюсь, — сказал майор. — Так вот, значит, так, товарищ замполит спросил товарища солдата, не родственник ли он, то есть солдат, генералу Куропаткину...

— К черту генерала Куропаткина! — закричал полковник. — Доложите существо дела!

— А есть еще, мне помнится, генерал Куропаткин на 1-м Белорусском фронте, — сказал вдруг капитан. — Не тот белый генерал, которого имел в виду замполит, а наш советский генерал Куропаткин.

— Откуда вы знаете, капитан, что я имел ввиду белого генерала, а не нашего? — спросил замполит.

— Вы же сами удивились, что солдат назвал белого генерала товарищем, — сказал капитан.

— Это не я удивился, а майор удивился, — сказал замполит.

— А вас не удивляет, если солдат называет товарищем белого генерала Куропаткина? — спросил майор у замполита.

— Молчать! — закричал полковник еще громче. — Чтоб я не слышал больше фамилии Куропаткин! Куропаткин! Куропаткин! При чем тут Куропаткин!

— Куропаткин это его фамилия, — сказал капитан.

— Капитан, прекратите! — крикнул полковник. — Я запрещаю говорить о Куропаткине!

— То, о чем вы запретили говорить, это его фамилия, — сказал капитан.

— Чья фамилия? — спросил покловник.

— Фамилия этого солдата, — сказал майор. — И если вы о нем запретите говорить, то о чем мы будем говорить?

— Так мы никогда не разберемся, — сказал полковник. — Доложите, майор, все сначала. И запрещаю называть фамилии, ясно?

— Слушаюсь, — сказал майор.

На поляне за столиком у входа в укрытие четыре офицера задумались, кто же виноват, что взвод погиб, а солдат Куропаткин стоял перед ними по стойке смирно и старался им помочь.

— Кто приказал взводу атаковать хутор и сарай? — спросил полковник.

— Я приказал, — сказал капитан. — Согласно приказу командира батальона.

— В моем приказе ничего не говорилось, что вы должны атаковать хутор, в котором никого нет, и сарай, в котором тем более никого нет, — сказал майор.

— Вот именно, — сказал капитан. — Что никого нет, не говорилось, а что там немцы, говорилось.

— Откуда вы взяли, товарищ майор, что в сарае и на хуторе есть немцы? — спросил полковник.

— Из приказа по полку, — пожал плечами майор.

— Хутор не был назван в приказе по полку! — сказал полковник.

— Но был назван рубеж, а хутор на рубеже, — возразил майор.

— И вы не знали, что там никого нет? — спросил полковник.

— Не знал, — сказал майор.

— И вы не знали? — спросил полковник у капитана.

— Не знал, — сказал капитан.

— Ну, вы-то, конечно, не знали, — махнул полковник рукой на замполита. — так кто же знал?

— Я знал, товарищ полковник! — сказал Куропаткин.

— Откуда вы знали? — спросил полковник.

— Вечером накануне боя я туда, разрешите доложить, товарищ полковник, я туда оправляться ходил! — сказал Куропаткин.

— Куда это — туда? — спросил полковник.

— В сарай, товарищ полковник!

— Почему это вы туда пошли оправляться? — спросил полковник. — В расположение немцев?

— Виноват, товарищ полковник, там не было немцев!

— Это подозрительно, — сказал замполит. — Откуда вы знали, что там нет немцев?

— Не перебивайте меня, — сказал полковник. — Итак, солдат, ты знал, что немцев там нет. Зачем же ты четыре часа стрелял по сараю?

- Согласно поставленной задаче, товарищ полковник.
- Кто же тебе ставил эту дурацкую задачу? — спросил полковник.
- Командир взвода лично, товарищ полковник!
- А ты ему сказал, что там никого нет?
- Так точно, сказал.
- А он что?
- А он сказал, чтобы я шел к ядреной фене, товарищ полковник.
- А ты что?
- А я сказал слушаюсь, товарищ полковник.
- А он что?
- А он сказал то-то и еще сказал, что все знают, что там немцы — и командир полка, и комбат, и комроты, а я хочу быть умнее всех.
- А ты что?
- Больше ничего, товарищ полковник.
- И не сказал ему, что там оправлялся?
- Так он об этом не спрашивал, товарищ полковник, он прочь пошел.
- Ты понимаешь, что ты наделал, солдат? — спросил полковник.
- Ты один знал, что немцев там нет, и не боролся, не отстаивал правильную точку зрения.
- Он выполнял приказ, — вступился капитан.
- С вами мы еще поговорим, капитан, — сказал полковник.
- Плохо вы воспитываете солдат!
- Это дело замполита, — сказал майор.
- И ваше, майор, и ваше, — сказал замполит.
- Замполит спас положение, взяв на себя командование штурмовой группой, — сказал полковник. — А в гибели взвода виноват этот солдат. Тебе это ясно, солдат?
- Ясно, товарищ полковник! — сказал Куропаткин. — Надо было втолковать лейтенанту нашему, что я там оправлялся.
- Вот именно, — сказал полковник. — А не понимал твой лейтенант, надо было дойти до капитана, до майора, до меня, наконец, и добиться правды. За правду бороться надо, в любых условиях, а ты спасовал. Приказ-то был дурацкий, ясно?
- Так точно!
- Вот из-за тебя и взвод погиб, — сказал полковник. — Вот что ты наделал, солдат.
- Но он выполнял приказ, — снова вступился капитан.
- Не в том дело, что он выполнял приказ, — объяснил замполит, — это он был обязан — выполнять приказ, а в том дело, что не боролся против приказа, одновременно его выполняя. Эту диалектику вы, надеюсь, понимаете, капитан? Надо бороться, выполняя, — что может быть понятнее?

— Действительно, — сказал майор. — Если все будут дружно бороться против глупых приказов, одновременно их исполняя, то это будет именно то, что нам надо.

— Не совсем с вами согласен, — сказал полковник. — Тогда будет очень трудно найти виноватого, а сейчас нам это удалось довольно быстро.

— Но тогда вообще не будет виноватых, — сказал майор, — потому что все будут одинаково виноваты — от солдата до генерала.

— Нет, сказал замполит. — Генералы не смогут быть виноваты, потому что они тоже будут бороться против приказов, против своих собственных неудачных приказов, одновременно требуя их выполнения. Вот в чем тут диалектика. И вообще не будет виноватых — все будут бороться против.

— Мы отвлеклись, — сказал полковник. — Что-то надо решить насчет солдата. Начнем с вас, капитан. Что вы предлагаете?

— Когда придет пополнение, включить в новый взвод ручным пулеметом, — сказал капитан.

— Отправить в штрафной батальон, — сказал майор.

— Расстрелять перед строем, — сказал замполит.

— Согласен, — кивнул головой полковник. — Так и сделаем.

Солдат Куропаткин!

— Я!

— Как виновный в гибели всего взвода вы направляетесь в штрафной батальон!

— Есть направляться в штрафной батальон!

— Можете идти, — сказал полковник, и Куропаткин четко удалился с незнакомой ему поляны.

— В армии все проще, — сказал замполит. — А вот в мирное время трудно будет найти виноватых среди тех, кто против приказов не борется.

— Ну, в мирное время не мне командовать, — сказал полковник. — Так что у меня об этом голова не болит.

— Интересно, — сказал капитан, — глядя на замполита, — а откуда все-таки генерал Куропаткин родом? Надо будет выяснить.

Глава 16

Полное невоготу Полине

Черт бы подрал этих мальчишек, которых я целый час искала по двору, по огороду, на улице и у соседей и уже испугалась, куда же они запропастились, а они запропастились в печь, закрылись заслонкой, играя в пещеру, да там и заснули в темноте и саже и вылезли оттуда выпавшиеся, голодные, со светлыми глазами на черных от копоти лицах и ели картошку с капустой, договариваясь, куда бы им еще запропасться, а растут они не по дням, даже не по часам, с чего бы это, ведь капуста одна, хорошо, что вот картошки достала, а они вырастут, как Илья Муромец, может зря я старшего Ильей назвала, не выкормить мне их.

Черт бы подрал этого мастера в цеху, кривого нахала, который перевел меня в ночную смену на целую неделю, и вот иди теперь четыре километра до станции в темноте по грязи, мало того, что в поезде за час настоишься, теперь с мокрыми ногами стой, в темноте обязательно в лужи проваливаешься, твоими ногами, Михеев, стой, ну зачем ты погиб смертью храбрых, жил бы лучше жизнью нехрабрых, как все живут, видишь, невоготу мне, а мастер пристаёт, ты, говорит, здоровая, покрепче других, не пойдешь со мной на склад, я тебя в подсобное хозяйство пошлю, а как я могу ехать туда без мальчишек, они одни никак еще не могут ничего, только запропасться и могут.

Черт бы подрал этот поезд, переполненный всегда, негде сесть, и люди спят сидя и стоя, все равно, едут ли на завод или с завода, зимней ночью или летним днем, в тепле или в холоде, в духоте, черт бы подрал этот поезд, этот поезд, черт, этот воезд, что, этот поезд, мне, этот поезд, делать, делать, этот поезд, этот поезд, этот пояс, что на мне, не вздохнуть, развяжи его, Михеев, вот спасибо, легче теперь, дай на тебя обопрись, какой ты добрый, Михеев, теперь ты присмотришь за ребятами, накормишь их, я не ела досыта уже давно, теперь легче будет, только бы не вздрогнуть, зачем я вздрогнула, вот и нет тебя, совсем никогда нет, только этот поезд, этот поезд.

Черт бы подрал эту крышу, которая течет, и этот огород, где картошка не окучена, сорняки не выполоты. Черт бы подрал это белье, которое надо постирать, и печь, которую надо затопить, и капусту, которую надо сварить, и магазин, в котором надо отовариться, и пол,

который надо вымыть, и завод, на котором я не могу перестать рботать, и колодец, из которого надо принести воды, и коромысло, которое давит на похудевшие плечи, на усталую спину, на все, что было твоим, Михеев. Что же мне делать, скажи, ну, не молчи, скажи, ты раньше много говорил, скажи что-нибудь.

— А я и сейчас могу сказать, — сказал ей Михеев. — Я не отказываюсь сказать, это другие уходят и не говорят, а я тебе скажу, я не хочу не говорить, тем более что мне теперь многое виднее, чем раньше, кругозор мой расширился, необозримо расширился, и понимание мое расширилось, я теперь стал совсем умный, так что я тебе очень просто и прямо скажу, что тебе делать, раньше я не смог бы тебе так просто сказать, а теперь могу, потому что многое я теперь знаю и понимаю такое, чего раньше не знал и не понимал, личность мне моя мешала, а теперь не мешает. Человека тебе надо в дом ввести, Полина, вот что надо тебе сделать.

— Не могу я этого сделать, что это ты мне опять какие-то глупости предлагаешь, и зачем я только с тобой познакомилась и слушаться тебя начала! — сказала Полина, а поезд ее покачивал и дергал, но люди стояли вокруг нее плотно и не давали упасть. — Я люблю тебя, как любила, знаешь, смотрю в колодец с журавлем, когда ведро топлю, а люблю тебя, смотрю на тополь, а люблю тебя, смотрю на речку, когда стираю, а люблю тебя, и никого не могу в дом ввести, потому что люблю тебя, а ты сам такие глупости мне предлагаешь, может быть, это ты не со мной разговариваешь, это я сама с собой разговариваю?

— Ты пойми меня правильно, Полина, — сказал Михеев. — Это обязательно надо, чтобы жили и сыновья мои, и ты, и чтобы дом не разрушался, крыша не протекала, забор не валился, картошка была бы окучена, одежда выстирана, печь затоплена, полы вымыты, в разбитое окно стекло вставлено, а ты еще не все заметила, что сделать надо, вот сапоги у тебя совсем никуда, их починить надо, что же все с мокрыми ногами ходить, ревматизм будет, и бочка у тебя для квашенной капусты еле держится, обруч верхний лопнул, надо новый набить, и дров у тебя запасено недостаточно, до середины зимы и то не хватит, надо в лес идти и хворосту наносить, и лошадь опять достать и привезти дров, и напилить надо, и наколоть, а Илья с Алешкой никак тебе не подмога, так что не обойтись тебе без человека в доме, совершенно не обойтись.

— Все это я и без тебя заметила, не воображай, — сказала Полина. — Сапоги мне мастер обещал выписать, когда солдатское имущество списанное к нам поступит, и бочку я пока веревкой стяну, еще подержится, только вот с дровами не знаю, что делать, времени не остается. Да и взять мне в дом совсем некого, я после тебя смотреть ни на кого не могу, все с ущербом, все неприятные, а такого, чтобы без ущерба и меня с двумя сыновьями взял, где я такого найду.

– Найдешь, – сказал Михеев. – Это я знаю. А что меня любишь, это только хорошо и очень мне приятно, и всю жизнь будешь любить, и только лучше тебе от этого будет.

– Надоело мне твои глупости слушать, – сказала Полина. – Невмоготу мне сейчас.

Глава 17

Дети уходят в лес у реки

В небе днем над деревней вместо звезд сверкают птицы и облака, звенят на солнце над золотыми стеблями хлебов, украшая жизнь до нестерпимой степени, украшая ее глубокой высью, славным течением смысла, который отнюдь не в чьей-то голове рождается отдельно от птиц и неба, реки, облаков и деревни, а просто и есть вот это все вместе взятое — и глубокая высь, и бескрайний низ, и человеческая жизнь, которая переплелась и с низом и с высью, так тесно переплелась деревней, дорогой, взглядами глаз, приложением рук, что никакая сволочь ее не сокрушит и не опоганит.

Детям этого смысла не сообразить умом, у них для такого соображения в голове возможностей еще не образовалось, они только посмотрят на небо с птицами или на реку с темнозелеными прядями тины у берегов или на лес, где между стволами ходит тишина, и ощутят, посмотрев, немедленную потребность прыгать, рассказывать небылицы, перелезть через неприступные заборы и вообще жить, жить очень интересно и размахивая руками. Так что дети никакого этого смысла отдельного не понимают, они для отдельного смысла еще не взрослые, они все сплошь самый смысл и есть, а вот взрослые частью этот смысл понимать научаются, но которые понимают, те уже смыслом не являются, потому что надо, чтобы понять, на смысл посмотреть со стороны и надо, значит, из смысла выйти. И понимающим объяснить детям трудно, потому что детей из смысла вывести трудно, а непонимающие детям смысл объяснить, конечно, не могут, раз они сами смысла не понимают. А жить очень интересно и размахивая руками взрослые умеют очень плохо, поэтому взрослые детям под дневным небом и птицами совершенно ни к чему, только мешают, и если покажется на горизонте взрослый, то дети на него внимания не обращают, если он не разводит костер или не стоит на голове.

Взрослых на горизонте не было, и деревенские ребята жили спокойно, идя в лес.

Жизненная сила Славки Постановова сделала его предводителем ребят, хотя, скажем, Костя Фомин бегал гораздо быстрее, а Вася Прохоров был гораздо крупнее, а Валька-беженец рассказывал интереснее учителя, Федора Михайловича, потому что не требовал запоминать

рассказанное.

— Мы не сразу поехали, — рассказывал Валька-беженец, — потому что мама не поверила, что немцы придут, а потом стрелять начали, у соседей на дворе вдруг как бабахнет ихняя мина, я даже от окна отошел, неприятно было около окна стоять. И тут мы все-таки поехали, потому что коней могло поубивать, мама сказала, немного отъедем, где не стреляют. А на дороге сколько ехало, кто на чем, даже на волах, а мы самые последние, мама все назад оглядывалась. И кругом стреляют. Километров сто отъехали, вдруг самолет немецкий на нас как налетит, как начал из пулеметов бить, все кто куда бегут, кони в разные стороны помчались, пыль кругом, кричат, я даже растерялся, на дно подводы лег. Мама прямо в поле повернула наших коней, и они как поскакали, трясет страшно, я даже глаза зажмурил. Потом тихо стало, смотрю — мы в лесу, страшном таком, дорога вся сзади в ямах и лужах, а перед нами телега перевернутая, лошади убитые валяются, будка фанерная лежит, людей нет. Только вот Пашка сидит рядом с телегой, испугался очень, один сидит.

— Я не напугался, — сказал Пашка. — Я просто сидел.

— Мать пошла, посмотрела там все, никого нет. Она по лесу походила, покричала — никого. Тогда она будку на подводу к нам поставила, Пашку в нее посадили, и мы поехали назад, потом дальше, пока до вас не доехали.

— И не видел немцев? — спросил Валька Постановов.

— Нет, — сказал Валька. — Не повезло. Только самолет видел.

— А я видел немцев, — сказал Пашка. — И партизан видел.

— Во сне что ли? — спросил Славка.

— И во сне тоже видел, — сказал Пашка.

— Подумаешь, и я во сне видел, — сказал Вася Порохов. — А ты до перепела докинешь камень?

В небе дрожа висел перепел, малиновый в голубом небе под белыми с золотой каймой облаками, и Валька-беженец кинул в небо камень, но камень далеко не долетел до перепела, который не обратил на камень внимания. И все мальчишки стали кидать, но никто не смог добросить до перепела или даже спугнуть его, занятого собственными наблюдениями и своим личным глубоко осмысленным дрожанием. Ребята оставили его в дрожащем покое и пришли в лес, где в кустах стояла зеленая фанерная будка, та самая, в которой укрывались на ночь и от непогоды Валька с матерью и подобранный ими Пашка, потерявший родителей под немецкой бомбежкой, до сих пор не могли их найти, а запросов не поступало.

В будке хранили ребята запасы деревянного оружия, лесных орехов и шишек, здесь жила привязанная лесная черепаха, здесь разводили они костры и дekli картошку, если удавалось достать, и здесь в тишине леса им не мешали взрослые расти самостоятельно.

Но сейчас на ближних подступах к будке стоял человек.

Он стоял, прислонясь к стволу березы, как к дверному косяку, скрестив ноги в кирзовых сапогах, и неторопливо сворачивал самокрутку. Серая солдатская шинель была наброшена на его плечи, ворот гимнастерки расстегнут, а пилотки на темных волосах не было.

Лица его было не разглядеть, лица его было не разобрать, и сердца ребят замерли, потому что каждый человек в шинели напоминал им того единственного, самого главного из людей, который совершал где-то на неизвестных направлениях подвиги и от которого приходили иногда или могли не приходиться письма-треугольники, надписанные химическим карандашом.

Ребята остановились перед ним, а он продолжал сворачивать самокрутку, потом закурил, поправил шинель на плечах и пошел в глубь леса, не обратив внимания на мальчишек, словно и не видел их. Он уходил, но не становился меньше и незаметнее — наоборот. Он рос и увеличивался в устремленных ему вслед глазах, серая его шинель полыхала за плечами, как ветер, как пламя, он заслонил собою деревья леса и шел сквозь них. Вдруг он обернулся.

Зачем человек поднимает руку? Погрозить, позвать, поманить. Пропрощаться. Прости-прощай. Прощаешь? Пока, прощай. Прощай, пока прощается. Что поделаешь, мальчишки, что я, как и многие, прощаюсь навсегда — вы уж навсегда простите, хоть это и не просто. Мне самому несладко уходить и поэтому я ухожу молча — так вы лучше меня запомните, как я есть, без путаницы слов, поднявшего руку на прощание. Молча прощайтесь, люди, молча, только руку поднимите, прощая остающихся.

Лес тихо шумел над будкой, из набежавшей тучи посыпался дождь, и капли, сбегая с листьев, постукивали по фанере.

— Ты видал у него нашивки на гимнастерке? — спросил Валька-беженец у Славки.

— Видал, — сказал Славка. — Пять тяжелых ранений.

— Не пять, а шесть, — сказал Костя Фомин.

— Куда он пошел? — спросил Вася Продоров. — Может, он демобилизованный?

— Надо было за ним пойти, — сказал Славка. — Это вы побоялись.

Пашка-беженец лежал на локте, задумчиво водил пальцем по панцирю черепахи, рисуя на нем какой-то непонятный узор, наверно, очень грустный, потому что лицо у Пашки было грустное и палец его был тоже грустный.

— В войну будем играть? — спросил Славка.

— Не хочется, — сказал Валька.

— Лучше костер разведем, — сказал Вася.

— А ну его, костер, — сказал Славка. — Может, шишки пособи-

раем?

- А ну их, шишки, – сказал Валька.
- Эх, не пошли за ним, – сказал Славка.
- А ну его, – сказал Вася, и губы его дрогнули.

Глава 18

Общая картина войны с отступающими подробностями

Еще далеко не кончилась война, но она уходила на Запад, все уходила и уходила, туда ей и дорога, оставляя по себе память на нашей земле и гордость в народном чувстве надолго, на века. И эту гордость в народном чувстве нельзя не разделять, если понимать, что не пустоцветные мысли доводят человека до истины, а только причастность к жизни близких ему людей, а не дальних, родной ему земли, а не чужой — здесь его причастие, вся его участь тут, и часть земли здесь будет ему навсегда в свое время, будет.

И горе оставляла война, родную сестру гордости, от одного основания и корня они — в мягкость перейдя рождает корень горе, а в твердость рождает гордость, и лучше слишком в это не вникать, запутаешься в побегах этого корня.

Народ спас себя, отчего же не уважать ему себя за это? Отдельный человек, образованный и смертный, может, конечно, быть выше всей жизненной суеты, выше страстей народных, ему-то что, ему жить недолго, а народу жить вечно и народ помнит всех, кто смертью смерть поправ, кто обрел бессмертие в жизни народа.

За хутором лесным, у дороги заросший травой холмик — солдатская могила. Старые жинщины, по своему выражая заботу о ней, поставили на холмике крест из двух березовых ветвей, связанных лубом. Пройдет время, многие, очерстнев, будут вспоминать погибших, только посещая знаменитые кладбища, где погребены тысячи и тысячи в одном месте. Только тысячи и тысячи будут будить их чувства. А мы в нашей песне, прощаясь с войной навсегда, потому что она уходит и из нашей песни, освобождая путь любви и жизни, из всех подробностей войны запомним эту могилу за лесным углом.

Глава 19

Где это ты, Франц?

Какая очень типично русская деревня, какая очень, очень сплошная анархия, черная коза на улице пасется, это нельзя, коза на улице без привязи, это не есть порядок, это для улицы и для черной козы вредно.

Через абсолютно счастливую деревню на глухую лесную стройку гнали сотни полторы зеленых небритых немцев, выгрузив на станции, а идти им было еще далеко, и пока капитан, начальник конвоя, выяснял в сельсовете по телефону про маршрут, довольствие и ночлег, пленные немцы стояли живописно под дождем, охраняемые двумя автоматчиками, курившими на крыльце сельсовета, охраняемые не автоматчиками, охраняемые пространством, чувством поражения и радости, что вокруг не стреляют, не рвутся снаряды, не кричат жизнеопасные команды. И Франц, ожидая неизвестной участи под этим новым для него небом, поднял придорожный камень, вытащил гвоздь из отскочившей планки полисадника, окружавшего сельсовет, и на другом камне распрямил этот гвоздь и начал прибивать планку, а черная коза прекратила щипать траву и стала пристально смотреть на Франца.

— Гут, — сказал Франц, приколотив планку.

Живые немцы — это нельзя пропустить, не в кино, а настоящих, и со всей деревни сбежались мальчишки и самые смелые девчонки и остановились подальше от толпы немцев и поближе к автоматчикам. На передний край выдвинулись самые отчаянные, и Славка Постановов стал вдруг прыгать и кружиться, не в силах сдержать возбуждение при виде такого количества безопасных врагов, и другие мальчишки стали тоже воинственно прыгать, не обращая внимания на дождь, который монотонно сеялся с неба, редкий и мелкий, тоже не обращая внимания на небывалое событие в жизни деревни.

И Костя Фомин вдруг неожиданно для всех, но в полном соответствии с буйством ганца, схватил крепкий комок земли и замахнувшись, как солдат гранатой в кино, бросил его в немцев.

— А ну, брысь! — крикнул автоматчик, вставая, и ребята отбежали.

— Майн гот, — сказал Франц, — рассматривая детей.

Глава 20

”Гут”, — сказал Франц

— Больше года он в плену, — сказал капитан Полине. — Так что по-русски понимает уже, скромный такой, на работе старательный, вроде даже любит работу.

— Если приставать будет, прогоню я его, — сказала Полина.

— А в смысле документов, — сказал капитан, — я справку тебе выдам, что он больной и вообще родственник тебе оказался, так что временно оставлен под твоей охраной, а сам его спишу, что дескать, помер, так что искать его не станут, мало ли их пропадает, да потом находят. Война кончится, он найдется, к себе в Германию поедет, а пока для тебя поработает, хотя, конечно, такого закона нет, чтобы они по хозяйству помогали, но ведь он и в колхоз ходить работать сможет, так что все останутся довольны, а он, надо думать, больше всех.

— Я с ним поговорю, — сказала Полина.

— Этот самый хороший, — сказал капитан. — Что ж, правда, тебе без мужской помощи оставаться.

Так все сошлось, что капитан был умный, Полине было невмogu, а Франц оказался мирным и работающим, и вот Полина подошла к нему, военнопленному, чтобы поговорить.

— Здравствуйте, — сказала Полина.

— Гутен таг, — сказал Франц.

Полина посмотрела на него и увидела его взволнованное лицо, нервное и худое, высокий лоб и голубые глаза.

— Вы остаетесь здесь у меня, — сказала Полина.

— Гут, — сказал Франц.

— Дом, дети, работы много, — сказала Полина.

— Гут, — сказал Франц.

— Я буду для вас вроде родственница дальняя, — сказал Полина.

— Гут, — сказал Франц.

— Только вы ничего не воображайте, — сказала Полина, раздражаясь его согласием. — Совсем ничего не воображайте, просто помогать будете мне, и в колхозе тоже, а больше ничего, вот так.

— Гут, — сказал Франц.

– Конечно, я дома тоже буду делать, что успею, только тяжело мне – и на заводе, и дома, одна я совсем, – сказала Полина. – А вам лучше будет у меня, чем в лагере, если вы только по-человечески вести себя будете, хорошо?

– Гут, – сказал Франц.

Глава 21

Бабочка над лугом

Как легко себе представить мрачные, вроде тюрьмы, городские стены с мрачными, как надгробье, обрубками каменных труб над ними, по которым только воспаленным воображением можно увидеть идущего Иисуса Христа, так вот, как легко себе над этим представить мрачные силуэты черных птиц — всякого там воронья, голубей или ласточек, так совсем легче увидеть головой разнообразный луг с бабочками над ним, белыми, желтыми, зеленоватыми капустницами, узорными крапивницами, среди которых изредка, как гордые орлы, пролетают красавицы по имени павлиный глаз, и все это множество напудренных, слабых, ну просто не тронь, танцует свой радужный танец над густой травой лугов, тянущихся на миллионы верст по бесконечно далеким пространствам России, от одного бескрайнего горизонта до другого совсем уже бескрайнего горизонта, и дальше, дальше, во все стороны до совершенно бескрайних горизонтов. Но белых бабочек больше всего, а почему это так, тут нужно вот что вспомнить.

На Руси белый цвет — это главный цвет, цвет берез и соборных стен, цвет головокружительной черемухи и священных риз, цвет горноста и снегов. На полгода, а то и больше покрывает Россию зимний покров, сверкая белизной под луной и под солнцем, освещая синие дороги, зеленую хвою и прозрачное небо. А потому он главный цвет, что составлен из всех всевозможных цветов на свете — из лилового и синего, голубого и зеленого, желтого и оранжевого, и красного тоже, так что любой цвет и оттенок, какой только можно придумать и составить, уже имеется в белом цвете, как и любая мысль, какую только можно сочинить и сконструировать, уже присутствует в русской мысли, беспредельной, как и родившая ее земля. Вот что нужно вспомнить, когда лежишь затылком на ладонях в траве и белая бабочка порхает над головой. Вот синий цвет, например, удивительно может быть красивый, но если все на свете сделать синим — синий лес, синие цветы в синей траве, синий нос на синем лице, синие птицы в синем небе, синие волосы, завязанные синей ленточкой, если все будет синее, синее, только синее, то это невозможно никак и противно представить, потому что скучно в этом синем однообразии до синих

чертиков. А из белого цвета можно сделать и синие глаза, и золотистые волосы, и, понятно, вообще все на свете, включая вон тот белый сарафан, что показался далеко на лугу, а из сарафана видны загорелые плечи Полины, идущей по своим делам.

— Ну, что я такое, — сказала бабочка. — Пустяк какой-то, ничего особенного, меня вон пальцем тронь — и нет меня, подуй на меня — и унесет меня, клюнь меня — и нет меня. Разве это жизнь, достойная подражания? И науки мне неизвестны, так что нечего говорить о такой безделице, как я.

А ты лежишь затылком на ладонях, пока она скромничает и задается над тобой, и постигаешь разнообразие жизни — разнообразие луга, постигаешь, пока не засыпаешь тихо и незаметно, и навсегда, а луг продолжает тянуться на миллионы верст, на миллионы лет, до миллионов бескрайних горизонтов, окружая абсолютно счастливую деревню, и по нему можно идти, идти, идти, не уставая, и не надоест, но ты уже спишь, ты больше не пойдешь, тебе хорошо, это другие пойдут.

— Ты, конечно, не велика, и тронь тебя — и нет тебя, это верно, и запомнить тебя не просто, потому что ты большей частью летаешь, а сидишь сложившись пополам, так что или половину запоминай, или как ты летаешь. Времени у меня сейчас много, и я могу на тебя подробно смотреть, как и на все на свете, и мне не надо спешить за Полиной, как надо было, когда она от меня хоронилась, теперь я всегда с ней.

Глава 22

Колодец с журавлем

— Колодец с журавлем — это я, и старый тополь — это тоже я, и лес, и речка, и луга — не вы, не мы, а я.

— Я теперь гораздо лучше все вижу, кругозор мой расширился, очень сильно расширился, и понимание мое теперь углубилось, потому что я теперь на все смотрю сверху, а не снизу, и личность моя не мешает мне все рассмотреть. И вот я гляжу на нашу деревню всевозможными глазами, и она мне нравится, как и прежде, потому что воздух над ней чистый, земля вокруг нее зеленая и пышная благодаря растениям, река мимо нее вечная, неиссякаемая, и люди в ней живут почти сплошь хорошие, давно живут, и будут они жить вечно, потому что будут они любить и дети на свет появляться поэтому будут. Раньше я редко думал, как мне нравится наша деревня, некогда мне было об этом думать, надо было по ночам Полину любить, чтобы дети появлялись, днем работать, потом и ночью воевать надо было. Где тут с мыслями собраться или к учителю нашему Федору Михайловичу сходить, как он приглашал, и выяснить неясные вопросы про географию, историю или почему наша деревня гораздо лучше других.

— Федору Михайловичу, — сказал колодец с журавлем, — новый дом недавно предоставили, баба Фима говорит, у него там книг, штук не меньше, чем двести, и все аккуратно в газеты завернуты, и он все читает и с учениками беседует, читает и беседует, читает и беседует, а работать уже не может, вот только учит и беседует, совсем старый стал.

— А теперь времени у меня хватит, чтобы подумать о чем захочу и о том, как мне нравится наша деревня.

— Чему тут нравиться, — сказал колодец с журавлем. — Ничего особенного, вон сруб у меня совсем сгнил, менять надо.

— Конечно, если новый сделать, это будет еще гораздо лучше в деревне.

— А домов сколько ветхих, да и тесно в них, во многих тесно, — сказал колодец с журавлем.

— Конечно, еще лучше будет, если вместо ветхих новые поставить, просторные.

— Чему тут нравиться, — сказал колодец с журавлем. — Вон сколь-

ко баб любить некому, баба Фима говорит, мне-то что, мой век весь вышел, а молодым это вредно, организм портится.

– Все бы ты ворчал и скрипел, нехороший свой характер обнаруживая, – сказал Михеев. – В суть из-за характера проникнуть не можешь, череп в тебе закопан и жемчужная нитка зацепилась, и ты про это думаешь и гордишься, что такие в тебе тайны скрыты. Хватит мне с тобой разговаривать, я на речку пойду, где мы с Полиной тогда первый раз обнимались.

– Сруб будут менять – жемчуг найдут, – сказал колодец с журавлем ему вслед. – В госбанк отнесут, а что там с ним сделают – неизвестно. Может, на валюту обменяют, а может, африканской принцессе подарят.

Глава 23

На реке, где мы с Полиной первый раз обнимались

— Вот, однако, как это ты, река, похожа сверху на Полину, и этот твой, река, поворот, как изгиб Полининой шеи, когда она отвернула лицо, а волосы ее текли по траве светлыми волнами, а снизу это было незаметно, что ты так на нее похожа. В глубине твоей, река, плавают окуни с красными плавниками, с темными полосами на спине, с обиженной губой под круглыми глазами. Над твоей, река, синевой, плавают синее небо, течет в противоположную тебе сторону и сыплет по ночам в тебя звезды. Ты бежишь мимо деревни, от бани Постановова до жилища дремучего деда, бежишь, ниоткуда не убегая, оставаясь на месте, верная своим берегам от тех трех кленов, что стоят напропив бани, до той ивы, что напротив деда, и тому лесу, что между ними и дальше. И вот сейчас снова вечер и из садов доносятся песни любовного содержания, только поют уже не наши товарищи, а вчерашние дети. И мои там мальчишки, здоровенные получились, и дочери Андрея и Клавы среди них, Вера, Надежда и Любка, младшая, все до сих пор незамужние.

— Не нравится мне это, — сказала река. — Меньше встречаются на моих берегах, чем встречались раньше, а Вера вчера приходила, сидела, задумавшись, допоздна, но совсем в одиночестве.

— Она думает в одиночестве временно, — сказал Михеев. — Скоро будет думать вдвоем, только уедут они отсюда на остров Диксон, будут там согревать друг друга и родят дочку, новую Веру.

— На острове Диксон таких рек нет, как я, — сказал река.

— Волосы ее текли по траве светлыми волнами, — сказал Михеев.

— Спасибо тебе, река.

Глава 24

Почему ты не уезжаешь, Франц?

– Ты, наверно, не совсем немец, – сказала Полина.

– Вас ис дас – не совсем немец? – спросил Франц.

– Помнишь, я сказала тебе, что дом, дети, работы много, а ты сказал гут; чтобы ты ничего не воображал, просто помогал мне, а ты сказал гут; чтобы ты вел себя по-человечески, а ты сказал гут; то есть я сказала в смысле, чтобы ты не приставал ко мне, женщины во мне не видел, а ты и тут сказал гут. И вот ты починил крышу, забор, приучая детей помогать, и ходил в колхоз, и делал много всякой работы, справедливым был, так что все тебя полюбили и даже многие шли к нам за советом, а ты всем помогал. А ко мне не приставал. Как сказал гут, так все и делал. Без подвоха, без обмана. Вот почему ты не совсем немец.

– Нет, – сказал Франц. – Я совсем немец, и мой батюшка и ма-тушка были совсем немцы.

– Помнишь, баба Фима пришла и сказала, что ее сын тоже воюет, так что ты теперь у нее поживи, а ты посмотрел на меня, и я сказала бабе Фиме, что ты мой родственник и тут совершенно ни при чем, что ее сын воюет. Но ты пошел к ней и выкопал ей картошку, а Егоровне вылечил корову, а Постановговых пиво выучил варить.

– Пиво варить после войны я научал, – сказал Франц.

– И женщины во мне ты не видел, как сказал гут, так все и было, надо же, – сказала Полина. – А деревня сомневалась немного, ты чей – общий или только мой, и когда при тебе об этом заговаривали, ты на меня смотрел, так смотрел, что я один раз не выдержала и закричала, чтобы не приставали к тебе, ты муж мой, понятно? А ты тогда не был еще моим мужем, а только дальним родственником, хорошим человеком.

– Он неправильно пиво варил, очень торопливо, – сказал Франц. – Суслу не давал отстояться, вместо вина водку наливал в это, как называется, приголовок.

– Я хотела мальчика, – сказала Полина. – А получились две девочки. Это участь у меня такая, что ли, двойнями рожать?

– Я думаю, это природа тому причиной, – сказал Франц. – Это хорошо, двое сразу. Если бы ты еще захотела рожать, могли бы два

мальчика быть. Жаль.

— Ты пойдешь сегодня к Постановову? — спросила Полина.

— Да, — сказал Франц. — Он опять бумагу получил. Опять меня разыскали. После войны это в который раз?

— В пятый, — сказала Полина. — За двенадцать лет пять раз тебя находили.

— Хорошо работают, — сказал Франц. — Так далеко я, а они пять раз нашли. Разные организации ищут, и каждая находит.

Постановов занимал в деревне видное положение как председатель сельсовета, но хотя это было так, стол у него в углу стоял без скатерти и без клеенки и, более того, под образами, а керосиновая лампа на столе стекла не имела и коптила на лица его гостей, и без того смуглых, и с этих лиц сверкали глаза, а на столе был большой кувшин с пивом и стаканы. Шестеро гостей сидели на лавках вдоль стола под образами, потому что жена Постановова было религиозной женщиной и тут он ничего не мог поделывать вот уже сорок лет, несмотря на свой громадный партийный стаж, и свободное время у жены отнимала вера от вышивания скатерти, украшения быта и покупки нового стекла для лампы.

— Не понимаю я, Франц Карлович, — сказал Постановов, — почему ты не уезжаешь. Мы не хотим, конечно, чтобы ты уезжал, работник ты передовой, но у тебя есть собственная страна, правда, капиталистическая, но все-таки своя, и там семья старая, родственники. Вот чего я не понимаю.

— Это понять трудно, — сказал молодой Фомин, наливая себе пиво. — Русскому человеку это понять почти совершенно невозможно.

— Моя семья живет под Магдебургом, — сказал Франц. — Они другие теперь. У жены моей новый муж наверно есть. На ферме у меня поряд был, наверно и теперь порядок. Там как заведено, так и идет, аккуратно и спокойно. А здесь у меня новая семья, новая жена, две своих дочки, два приемных сына, а вокруг очень мало порядка, так что думать много надо, как это возможно, чтобы так мало порядка, а люди живут и очень хорошие люди живут. И мне интересно, сколько это будет продолжаться и как это будет меняться, и как из этого беспорядка порядок будет получаться и когда. Не могу я отсюда уехать, очень мне здесь интересно. И жена у меня очень хороший человек, и дети все хорошие, от них я тоже не могу уезжать. Я был военнопленный, а она меня в дом приняла, как родственника, что же, конечно, беспорядок, однако и капитан, и вот вы этот беспорядок сделали, и я благодарен вам за это, немцы бы так не сделали, сплошная анархия, а уезжать не хочу.

— Действительность нашу критикуешь, Франц Карлович, — сказал Постановов. — Это зачем же?

— Не критикует он, — сказал сосед Постоногова. — Человек вслух думает, это ценить надо.

— Я так считаю, что пусть у нас живет, — сказал молодой Фомин.

— Кто же против, — сказал Постоногов. — Если бы была сплошная анархия, Франц Карлович, то мы давно бы все перемерли, а мы живем, ты это пойми.

— Их ферштээ, — сказал Франц.

Глава 25

Огородное пугало и его сны

Луна светила ему под козырек в первобытные глаза, а вокруг него качали черными головами подсолнухи.

Сонно мычала корова у себя дома где-то рядом, плескалась рыба в реке, и круги плыли по воде со скоростью течения.

Надо бы все-таки рассказать, как выглядит одна абсолютно счастливая деревня в целом. Ну, представьте себе синюю-синюю речку и синее-синее небо... Хотя нет, невозможно это сейчас представить, потому что ночь над землей и небо в эту пору совсем не синее, хотя тоже красивое.

— Много я с тобой когда-то разговаривал, — сказал Михеев, — но многого не договорили, все я куда-то спешил, дел было много.

— А я не спешу, — сказала пугало. — мне спешить всегда было некуда.

— Я теперь тоже не спешу, — сказал Михеев. — Необъятная деревня вокруг меня.

— Осенью и зимой я вообще без дела, — сказала пугало. — Сны вижу, замечательные сны. Вот, например, этой зимой один очень длинный сон приснился. Сначала приснился мне колокольный звон и длинная-длинная процессия, которая шла вдоль нашей реки. Скрипели телеги, мычали привязанные к возам коровы, лаяли шавки, бегущие со всем этим не то обозом, не то процессией. Все люди шли, все сплошь знакомые — и Фомины, и Постаноговы, и бабка Егоровна с семейством, и бабка Фима, и дети. Даже дремучий дед в конце неохотно шел, за самой последней телегой — пойдет, пойдет и недоверчиво останавливается. А колокольный звон заливается на все возможные голоса.

— Что-то на тебя наверно, церковное намотано, раз тебе колокольный звон снился, — сказал Михеев. — А может, ватник твой дычок когда-то надевал. Отчего бы иначе такие сны.

— Перешла эта процессия реку, а там неизвестно откуда взялся — холм стоит высокий, склон его зеленый и дорога к вершине вьется. А на холме стоит твоя Полина и Илья с Алешей рядом с ней — рослые, статные, ну совсем как в жизни.

— А это от разговоров наших приснилось, — сказал Михеев.

— На Полине платье белое с красным поясом, в котором на свадь-

бе она была, а Илья с Алешей в чем-то серебристом, не разобрать толком, в чем. И вся процессия к ним на холм подниматься стала, медленно так, целый месяц, наверно, мне снилось, как она поднимается. Тут меня ветер разбудил, крышей загремел, с трудом снова заснуть удалось, большая часть сна прошла, пока ветер крышей гремел. Потом приснилось мне пустое поле, на нем белыми камушками множество надписей выложено, только прочесть невозможно, трава между камушков поднялась, слов не разобрать.

— Фуражка на тебе железнодорожная, вот тебе надписи, выложенные белыми камушками, и снятся, — сказал Михеев.

— А потом на этом поле ты мне приснился, — сказала пугало. — Только грустный почему-то ты был и стал мне рассказывать, что нравится тебе наша деревня очень сильно, но многое ты сейчас видишь такое, чего прежде не видел, и хочется тебе, чтобы земля была плодороднее, стада обширнее, народу было бы побольше, детей тоже чтобы было побольше, дома были посветлее и попросторнее, а люди не имели бы в себе хитрости и о выгоде своей поменьше думали. Тут мне пришлось тебе сказать, что невозможных вещей ты хочешь.

— Почему это невозможных? — спросил Михеев. — Это совсем простые и легкие вещи, чтобы лес был еще зеленее, например, что же тут такого невозможного. Очень просто увидеть всю нашу необъятную деревню прекрасной без изъяна. Что вот на тучной земле вразброс, утопая в садах, стоят дома, увитые хмелем, плющом и повителью, окна в домах чистые, убранство в них опрятное, люди в них живут здоровые и дело делают толково, с умом и шуткой, весело и с достоинством, друг о друге заботятся, землю свою любят. Это очень просто представить, так что же тут невозможного? И разница с тем, что есть, не особенно велика, потому что если бы она была велика, то жизнь давно бы уже прекратилась, а она не прекратилась.

— Не понимаешь ты, что люди разные, желания у них разные, и все почти получать хотят, а вовсе не отдавать, — сказала пугало.

— Это пуговицы на тебе с кителя срезанные, вот тебе и снятся, что невозможно. — сказал Михеев.

— А ты у земли спроси, если мне не веришь, — сказала пугало.

Глава 26

Михеев разговаривает с землей о ее недостатках

— Почему это так, земля, — спросил Михеев, — что если представлять себе, что на тебе, тучной, вразброс стоят в садах просторные дома, окна в домах чистые, убранство в них опрятное, люди в них живут здоровые и веселые и так далее, то чем больше думаешь об этом и представляешь это себе, тем хуже это видно, словно светлее становится больше необходимого, все светлее и светлее, так что свет все гасит и ничего уже, кроме света, не видишь и никак ничего, кроме света, не разглядеть и в подробности не всмотреться?

— Не всмотреться, — сказала земля.

— Еще отдельную подробность можно рассмотреть и представить себе ее совсем ясно, так что это будет счастливая и хорошая подробность, но уже другие подробности с ней рядом не разглядеть из-за света?

— Из-за света, — сказала земля.

— Вот несешь ты на себе одну абсолютно счастливую деревню, — сказал Михеев.

— Несу, — сказала земля.

— Но ведь и в ней есть что сделать лучше, гораздо лучше, это ты знаешь, но когда совсем лучше, то один свет и больше ничего, и слепнем мы от света и, как слепые, впотьмах Бог знает что делаем.

— Поговори со мной о моих недостатках, — сказала земля. — Поговори об этом.